



КНИЖНИ
НЕЩОС
И
СОПРЕ
МЕННА
ПРЕДА



Франц

КАФКА

Преображение

РОСКОС

Искусство

- [Франц Кафка](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
-

Франц Кафка
Превращение

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Лежа на панцирнотвердой спине, он видел, стоило ему приподнять голову, свой коричневый, выпуклый, разделенный дугообразными чешуйками живот, на верхушке которого еле держалось готовое вот-вот окончательно сползти одеяло. Его многочисленные, убого тонкие по сравнению с остальным телом ножки беспомощно копошились у него перед глазами.

«Что со мной случилось?» – подумал он. Это не было сном. Его комната, настоящая, разве что слишком маленькая, но обычная комната, мирно покоилась в своих четырех хорошо знакомых стенах. Над столом, где были разложены распакованные образцы сукон – Замза был коммивояжером, – висел портрет, который он недавно вырезал из иллюстрированного журнала и вставил в красивую золоченую рамку. На портрете была изображена дама в меховой шляпе и боа, она сидела очень прямо и протягивала зрителю тяжелую меховую муфту, в которой целиком исчезала ее рука.

Затем взгляд Грегора устремился в окно, и пасмурная погода – слышно было, как по жести подоконника стучат капли дождя – привела его и вовсе в грустное настроение. «Хорошо бы еще немного поспать и забыть всю эту чепуху», – подумал он, но это было совершенно неосуществимо, он привык спать на правом боку, а в теперешнем своем состоянии он никак не мог принять этого положения. С какой бы силой ни поворачивался он на правый бок, он неизменно сваливался опять на спину. Закрыв глаза, чтобы не видеть своих барахтающихся ног, он проделал это добрую сотню раз и отказался от этих попыток только тогда, когда почувствовал какую-то неведомую дотоле, тупую и слабую боль в боку.

«Ах ты, господи, – подумал он, – какую я выбрал хлопотную профессию! Изо дня в день в разъездах. Деловых волнений куда больше, чем на месте, в торговом доме, а кроме того, изволь терпеть тяготы дороги, думай о расписании поездов, мирись с плохим, нерегулярным питанием, завязывай со все новыми и новыми людьми недолгие, никогда не бывающие сердечными отношения. Черт бы побрал все это!» Он почувствовал вверху живота легкий зуд; медленно подвинулся на спине к прутьям кровати, чтобы удобнее было поднять голову; нашел зудевшее место, сплошь покрытое, как оказалось, белыми непонятными точечками; хотел было ощупать это место одной из ножек, но сразу отдернул ее, ибо даже простое прикосновение вызвало у него, Грегора, озноб.

Он соскользнул в прежнее свое положение. «От этого раннего вставания, – подумал он, – можно совсем обезуметь. Человек должен высыпаться. Другие коммивояжеры живут, как одалиски. Когда я, например, среди дня возвращаюсь в гостиницу, чтобы переписать полученные заказы, эти господа только завтракают. А осмелюсь я вести себя так, мои хозяин выгнал бы меня сразу. Кто знает, впрочем, может быть, это было бы даже очень хорошо для меня. Если бы я не сдерживался ради родителей, я бы давно заявил об уходе, я бы подошел к своему хозяину и выложил ему все, что о нем думаю. Он бы так и свалился с конторки! Странная у него манера – садиться на конторку и с ее высоты разговаривать со служащим, который вдобавок вынужден подойти вплотную к конторке из-за того, что хозяин туг на ухо. Однако надежда еще не совсем потеряна: как только я накоплю денег, чтобы выплатить долг моих родителей – на это уйдет еще лет пять-шесть, – я так и поступлю. Тут-то мы и распрощаемся раз и навсегда. А пока что надо подниматься, мой поезд отходит в пять».

И он взглянул на будильник, который тикал на сундуке. «Боже правый!» – подумал он. Было половина седьмого, и стрелки спокойно двигались дальше, было даже больше

половины, без малого уже три четверти. Неужели будильник не звонил? С кровати было видно, что он поставлен правильно, на четыре часа; и он, несомненно, звонил. Но как можно было спокойно спать под этот сотрясающий мебель трезвон? Ну, спал-то он беспокойно, но, видимо, крепко. Однако что делать теперь? Следующий поезд уходит в семь часов; чтобы поспеть на него, он должен отчаянно торопиться, а набор образцов еще не упакован, да и сам он отнюдь не чувствует себя свежим и легким на подъем. И даже поспей он на поезд, хозяйского разноса ему все равно не избежать – ведь рассыльный торгового дома дежурил у пятичасового поезда и давно доложил о его, Грегора, опоздании. Рассыльный, человек бесхарактерный и неумный, был ставленником хозяина. А что, если сказать больным? Но это было бы крайне неприятно и показалось бы подозрительным, ибо за пятилетнюю свою службу Грегор ни разу еще не болел. Хозяин, конечно, привел бы врача больничной кассы и стал попрекать родителей сыном-лентяем, отводя любые возражения ссылкой на этого врача, по мнению которого все люди на свете совершенно здоровы и только не любят работать. И разве в данном случае он был бы так уж не прав? Если не считать сонливости, действительно странной после такого долгого сна, Грегор и в самом деле чувствовал себя превосходно и был даже чертовски голоден.

Покуда он все это торопливо обдумывал, никак не решаясь покинуть постель, – будильник как раз пробил без четверти семь, – в дверь у его изголовья осторожно постучали.

– Грегор, – услышал он (это была его мать), – уже без четверти семь. Разве ты не собирался уехать?

Этот ласковый голос! Грегор испугался, услышав ответные звуки собственного голоса, к которому, хоть это и был, несомненно, прежний его голос, примешивался какой-то подспудный, но упрямый болезненный писк, отчего слова только в первое мгновение звучали отчетливо, а потом искажались отголоском настолько, что нельзя было с уверенностью сказать, не ослышался ли ты. Грегор хотел подробно ответить и все объяснить, но ввиду этих обстоятельств сказал только:

Да, да, спасибо, мама, я уже встаю.

Снаружи, благодаря деревянной двери, по-видимому, не заметили, как изменился его голос, потому что после этих слов мать успокоилась и зашаркала прочь. Но короткий этот разговор обратил внимание остальных членов семьи на то, что Грегор вопреки ожиданию все еще дома, и вот уже в одну из боковых дверей стучал отец – слабо, но кулаком.

– Грегор! Грегор! – кричал он. – В чем дело? И через несколько мгновений позвал еще раз, понизив голос:

– Грегор! Грегор!

А за другой боковой дверью тихо и жалостно говорила сестра:

– Грегор! Тебе нездоровится? Помочь тебе чем-нибудь?

Отвечая всем вместе: «Я уже готов», – Грегор старался тщательным выговором и длинными паузами между словами лишить свой голос какой бы то ни было необычности. Отец и в самом деле вернулся к своему завтраку, но сестра продолжала шептать:

– Грегор, открой, умоляю тебя.

Однако Грегор и не думал открывать, он благословлял приобретенную в поездках привычку и дома предусмотрительно запирает на ночь все двери.

Он хотел сначала спокойно и без помех встать, одеться и прежде всего позавтракать, а потом уж поразмыслить о дальнейшем, ибо – это ему стало ясно – в постели он ни до чего путного не додумался бы. Ом вспомнил, что уже не раз, лежа в постели, ощущал какую-то легкую, вызванную, возможно, неудобной позой боль, которая, стоило встать, оказывалась чистейшей игрой воображения, и ему было любопытно, как рассеется его сегодняшняя

морок. Что изменение голоса всего-навсего предвестие профессиональной болезни коммивояжеров – жестокой простуды, в этом он нисколько не сомневался.

Сбросить одеяло оказалось просто; достаточно было немного надуть живот, и оно упало само. Но дальше дело шло хуже, главным образом потому, что он был так широк.

Ему нужны были руки, чтобы подняться; а вместо этого у него было множество ножек, которые не переставали беспорядочно двигаться и с которыми он к тому же никак не мог совладать. Если он хотел какую-либо ножку согнуть, она первым делом вытягивалась; а если ему наконец удавалось выполнить этой ногой то, что он задумал, то другие тем временем, словно вырвавшись на волю, приходили в самое мучительное волнение. «Только не задерживаться понапрасну в постели», – сказал себе Грегор.

Сперва он хотел выбраться из постели нижней частью своего туловища, но эта нижняя часть, которой он, кстати, еще не видел, да и не мог представить себе, оказалась малоподвижной; дело шло медленно; а когда Грегор наконец в бешенстве напропалую рванулся вперед, он, взяв неверное направление, сильно ударился о прутья кровати, и обжигающая боль убедила его, что нижняя часть туловища у него сейчас, вероятно, самая чувствительная.

Поэтому он попытался выбраться сначала верхней частью туловища и стал осторожно поворачивать голову к краю кровати. Это ему легко удалось, и, несмотря на свою ширину и тяжесть, туловище его в конце концов медленно последовало за головой. Но когда голова, перевалившись наконец за край кровати, повисла, ему стало страшно продвигаться и дальше подобным образом. Ведь если бы он в конце концов упал, то разве что чудом не повредил бы себе голову. А терять сознание именно сейчас он ни в коем случае не должен был; лучше уж было остаться в постели.

Но когда, переведя дух после стольких усилий, он принял прежнее положение, когда он увидел, что его ножки копошатся, пожалуй, еще неистовей, и не сумел внести в этот произвол покой и порядок, он снова сказал себе, что в кровати никак нельзя оставаться и что самое разумное – это рискнуть всем ради малейшей надежды освободить себя от кровати. Одновременно, однако, он не забывал нет-нет да напомнить себе, что от спокойного размышления толку гораздо больше, чем от порывов отчаяния. В такие мгновения он как можно пристальнее глядел в окно, но к сожалению, в зрелище утреннего тумана, скрывшего даже противоположную сторону узкой улицы, нельзя было почерпнуть бодрости и уверенности. «Уже семь часов, – сказал он себе, когда снова слышался бой будильника, – уже семь часов, а все еще такой туман». И несколько мгновений он полежал спокойно, слабо дыша, как будто ждал от полной тишины возвращения действительных и естественных обстоятельств.

Но потом он сказал себе: «Прежде чем пробьет четверть восьмого, я должен во что бы то ни стало окончательно покинуть кровать. Впрочем, к тому времени из конторы уже придут справиться обо мне, ведь контора открывается раньше семи». И он принялся выталкиваться из кровати, раскачивая туловище по всей его длине равномерно. Если бы он упал так с кровати, то, видимо, не повредил бы голову, резко приподняв ее во время падения. Спина же казалась достаточно твердой; при падении на ковер с ней, наверно, ничего не случилось бы. Больше всего беспокоила его мысль о том, что тело его упадет с грохотом и это вызовет за всеми дверями если не ужас, то уж, во всяком случае, тревогу. И все же на это нужно было решиться.

Когда Грегор уже наполовину повис над краем кровати – новый способ походил скорее на игру, чем на утомительную работу, нужно было только рывками раскачиваться, – он подумал, как было бы все просто, если бы ему помогли. Двух сильных людей – он подумал

об отце и о прислуге – было бы совершенно достаточно; им пришлось бы только, засунув руки под выпуклую его спину, снять его с кровати, а затем, нагнувшись со своей ношей, подождать, пока он осторожно перевернется на полу, где его ножки получили бы, надо полагать, какой-то смысл. Но даже если бы двери не были заперты, неужели он действительно позвал бы кого-нибудь на помощь? Несмотря на свою беду, он не удержался от улыбки при этой мысли.

Он уже с трудом сохранял равновесие при сильных рывках и уже вот-вот должен был окончательно решиться, когда с парадного донесся звонок. «Это кто-то из фирмы», – сказал он себе и почти застыл, но зато его ножки заходили еще стремительней. Несколько мгновений все было тихо. «Они не отворяют», – сказал себе Грегор, отдаваясь какой-то безумной надежде. Но потом, конечно, прислуга, как всегда, твердо прошагала к парадному и открыла. Грегору достаточно было услышать только первое приветственное слово гостя, чтобы тотчас узнать, кто он: это был сам управляющий. И почему Грегору суждено было служить в фирме, где малейший промах вызывал сразу самые тяжкие подозрения? Разве ее служащие были все как один прохвосты, разве среди них не было надежного и преданного человека, который, хоть он и не отдал делу нескольких утренних часов, совсем обезумел от угрызений совести и просто не в состоянии покинуть постель? Неужели недостаточно было послать справиться ученика – если такие расспросы вообще нужны, – неужели непременно должен был прийти сам управляющий и тем самым показать всей ни в чем не повинной семье, что расследование этого подозрительного дела по силам только ему? И больше от волнения, в которое привели его эти мысли, чем по-настоящему решившись, Грегор изо всех сил рванулся с кровати. Удар был громкий, но не то чтобы оглушительный. Падение несколько смягчил ковер, да и спина оказалась эластичнее, чем предполагал Грегор, поэтому звук получился глухой, не такой уж разительный. Вот только голову он держал недостаточно осторожно и ударил ее; он потерялся ею о ковер, досадуя на боль.

– Там что-то упало, – сказал управляющий в соседней комнате слева.

Грегор попытался представить себе, не может ли и с управляющим произойти нечто подобное тому, что случилось сегодня с ним, Грегором; ведь вообще-то такой возможности нельзя было отрицать. Но как бы отметая этот вопрос, управляющий сделал в соседней комнате несколько решительных шагов, сопровождавшихся скрипом его лакированных сапог. Из комнаты справа, стремясь предупредить Грегора, шептала сестра:

– Грегор, пришел управляющий.

– Я знаю, – сказал Грегор тихо; повысить голос настолько, чтобы его услышала сестра, он не отважился.

– Грегор, – заговорил отец в комнате слева, – к нам пришел господин управляющий. Он спрашивает, почему ты не уехал с утренним поездом. Мы не знаем, что ответить ему. Впрочем, он хочет поговорить и с тобой лично. Поэтому, пожалуйста, открой дверь. Он уж великодушно извинит нас за беспорядок в комнате.

– Доброе утро, господин Замза, – приветливо вставил сам управляющий.

– Ему нездоровится, – сказала мать управляющему, покуда отец продолжал говорить у двери. – Поверьте мне, господин управляющий, ему нездоровится. Разве иначе Грегор опоздал бы на поезд! Ведь мальчик только и думает что о фирме. Я даже немного сержусь, что он никуда не ходит по вечерам; он пробыл восемь дней в городе, но все вечера провел дома. Сидит себе за столом и молча читает газету или изучает расписание поездов. Единственное развлечение, которое он позволяет себе, – это выпиливание. За каких-нибудь два-три вечера он сделал, например, рамочку; такая красивая рамочка, просто загляденье; она висит там в комнате, вы сейчас ее увидите, когда Грегор откроет. Право, я счастлива, что вы пришли,

господин управляющий; без вас мы бы не заставили Грегора открыть дверь; он такой упрямый; и наверняка ему нездоровится, хоть он и отрицал это утром.

– Сейчас я выйду, – медленно и размеренно сказал Грегор, но не шевельнулся, чтобы не пропустить ни одного слова из их разговоров.

– Другого объяснения, сударыня, у меня и нет, – сказал управляющий. – Будем надеяться, что болезнь его не опасна. Хотя, с другой стороны, должен заметить, что нам, коммерсантам, – то ли к счастью, то ли к несчастью – приходится часто в интересах дела просто преодолевать легкий недуг.

– Значит, господин управляющий может уже войти к тебе? – спросил нетерпеливый отец и снова постучал в дверь.

– Нет, – сказал Грегор. В комнате слева наступила мучительная тишина, в комнате справа зарыдала сестра.

Почему сестра не шла к остальным? Вероятно, она только сейчас встала с постели и еще даже не начала одеваться. А почему она плакала? Потому что он не вставал и не впускал управляющего, потому что он рисковал потерять место и потому что тогда хозяин снова стал бы преследовать родителей старыми требованиями. Но ведь покамест это были напрасные страхи. Грегор был еще здесь и вовсе не собирался покидать свою семью. Сейчас он, правда, лежал на ковре, а, узнав, в каком он находится состоянии, никто не стал бы требовать от него, чтобы он впустил управляющего. Но не выгонят же так уж сразу Грегора из-за этой маленькой невежливости, для которой позднее легко найдется подходящее оправдание! И Грегору казалось, что гораздо разумнее было бы оставить его сейчас в покое, а не докучать ему плачем и уговорами. Но ведь всех угнетала – и это извиняло их поведение – именно неизвестность.

– Господин Замза, – воскликнул управляющий, теперь уж повысив голос, – в чем дело? Вы заперлись в своей комнате, отвечаете только «да» и «нет», доставляете своим родителям тяжелые, ненужные волнения и уклоняетесь – упомяну об этом лишь вскользь – от исполнения своих служебных обязанностей поистине неслыханным образом. Я говорю сейчас от имени ваших родителей и вашего хозяина и убедительно прошу вас немедленно объясниться. Я удивлен, я поражен! Я считал вас спокойным, рассудительным человеком, а вы, кажется, вздумали выкидывать странные номера. Хозяин, правда, намекнул мне сегодня утром на возможное объяснение вашего прогула – оно касалось недавно доверенного вам инкассо, – но я, право, готов был дать честное слово, что это объяснение не соответствует действительности. Однако сейчас, при виде вашего непонятного упрямства, у меня пропадает всякая охота в какой бы то ни было мере за вас заступаться. А положение ваше отнюдь не прочно. Сначала я намеревался сказать вам это с глазу на глаз, но поскольку вы заставляете меня напрасно тратить здесь время, я не вижу причин утаивать это от ваших уважаемых родителей. Ваши успехи в последнее время были, скажу я вам, весьма неудовлетворительны; правда, сейчас не то время года, чтобы заключать большие сделки, это мы признаем; но такого времени года, когда не заключают никаких сделок, вообще не существует, господин Замза, не может существовать.

– Но, господин управляющий, – теряя самообладание, воскликнул Грегор и от волнения забыл обо всем другом, – я же немедленно, сию минуту открою. Легкое недомогание, приступ головокружения не давали мне возможности встать. Я и сейчас еще лежу в кровати. Но я уже совсем пришел в себя. И уже встаю. Минутку терпения! Мне еще не так хорошо, как я думал. Но уже лучше. Подумать только, что за напасть! Еще вчера вечером я чувствовал себя превосходно, мои родители это подтвердят, нет, вернее, уже вчера вечером у меня появилось какое-то предчувствие. Очень возможно, что это было заметно. И почему я не

уведомил об этом фирму! Но ведь всегда думаешь, что переможешь болезнь на ногах. Господин управляющий! Пощадите моих родителей! Ведь для упреков, которые вы сейчас мне делаете, нет никаких оснований; мне же и не говорили об этом ни слова. Вы, наверно, не видели последних заказов, которые я прислал. Да я еще и уеду с восьмичасовым поездом, несколько лишних часов сна подкрепили мои силы. Не задерживайтесь, господин управляющий, я сейчас сам приду в фирму, будьте добры, так и скажите и засвидетельствуйте мое почтение хозяину!

И покуда Грегор все это поспешно выпаливал, сам не зная, что он говорит, он легко – видимо, наловчившись в кровати – приблизился к сундуку и попытался, опираясь на него, выпрямиться во весь рост. Он действительно хотел открыть дверь, действительно хотел выйти и поговорить с управляющим; ему очень хотелось узнать, что скажут, увидев его, люди, которые сейчас так его ждут. Если они испугаются, значит, с Грегора уже снята ответственность и он может быть спокоен. Если же они примут все это спокойно, то, значит, и у него нет причин волноваться и, поторопившись, он действительно будет на вокзале в восемь часов. Сначала он несколько раз соскальзывал с полированного сундука, но наконец, сделав последний рывок, выпрямился во весь рост; на боль в нижней части туловища он уже не обращал внимания, хотя она была очень мучительна. Затем, навалившись на спинку стоявшего поблизости стула, он зацепился за ее края ножками. Теперь он обрел власть над своим телом и умолк, чтобы выслушать ответ управляющего.

– Поняли ли вы хоть одно слово? – спросил тот родителей. – Уж не издевается ли он над нами?

– Господь с вами, – воскликнула мать, вся в слезах, – может быть, он тяжело болен, а мы его мучим. Грета! Грета! – крикнула она затем.

– Мама? – отозвалась сестра с другой стороны.

– Сейчас же ступай к врачу. Грегор болен. Скорей за врачом. Ты слышала, как говорил Грегор?

– Это был голос животного, – сказал управляющий, сказал поразительно тихо по сравнению с криками матери.

– Анна! Анна! – закричал отец через переднюю в кухню и хлопнул в ладоши. – Сейчас же приведите слесаря!

И вот уже обе девушки, шурша юбками, пробежали через переднюю – как же это сестра так быстро оделась? – и распахнули входную дверь. Не слышно было, чтобы дверь захлопнулась – наверно, они так и оставили ее открытой, как то бывает в квартирах, где произошло большое несчастье.

А Грегору стало гораздо спокойнее. Речи его, правда, уже не понимали, хотя ему она казалась достаточно ясной, даже более ясной, чем прежде, – вероятно потому, что его слух к ней привык. Но зато теперь поверили, что с ним творится что-то неладное, и были готовы ему помочь. Уверенность и твердость, с какими отдавались первые распоряжения, подействовали на него благотворно. Он чувствовал себя вновь приобщенным к людям и ждал от врача и от слесаря, не отделяя по существу одного от другого, удивительных свершений. Чтобы перед приближавшимся решающим разговором придать своей речи как можно большую ясность, он немного откашлялся, стараясь, однако, сделать это поглуше, потому что, возможно, и эти звуки больше не походили на человеческий кашель, а судить об этом он уже не решался. В соседней комнате стало между тем совсем тихо. Может быть, родители сидели с управляющим за столом и шушукались, а может быть, все они приникли к двери, прислушиваясь.

Грегор медленно продвинулся со стулом к двери, отпустил его, навалился на дверь,

припал к ней стоймя – на подушечках его лапок было какое-то клейкое вещество – и немного передохнул, натрудившись. А затем принялся поворачивать ртом ключ в замке. Увы, у него, кажется, не было настоящих зубов – чем же схватить теперь ключ? – но зато челюсти оказались очень сильными; с их помощью он и в самом деле задвигал ключом, не обращая внимания на то, что, несомненно, причинил себе вред, ибо какая-то бурая жидкость выступила у него изо рта, потекла по ключу и закапала на пол.

– Послушайте-ка, – сказал управляющий в соседней комнате, – он поворачивает ключ.

Это очень ободрило Грегора; но лучше бы все они, и отец, и мать, кричали ему, лучше бы они все кричали ему:

«Сильней, Грегор! Ну-ка, поднатужься, ну-ка, нажми на замок!» И вообразив, что все напряженно следят за его усилиями, он самозабвенно, изо всех сил вцепился в ключ. По мере того как ключ поворачивался, Грегор переваливался около замка с ножки на ножку; держась теперь стоймя только с помощью рта, он по мере надобности то повисал на ключе, то наваливался на него всей тяжестью своего тела. Звонкий щелчок поддавшегося наконец замка как бы разбудил Грегора. Переведя дух, он сказал себе:

«Значит, я все-таки обошелся без слесаря», – и положил голову на дверную ручку, чтобы отворить дверь.

Поскольку отворил он ее таким способом, его самого еще не было видно, когда дверь уже довольно широко отворилась. Сначала он должен был медленно обойти одну створку, а обойти ее нужно было с большой осторожностью, чтобы не шлепнуться на спину у самого входа в комнату. Он был еще занят этим трудным передвижением и, торопясь, ни на что больше не обращал внимания, как вдруг услышал громкое «О!» управляющего – оно прозвучало, как свист ветра, – и увидел затем его самого: находясь ближе всех к двери, тот прижал ладонь к открытому рту и медленно пятился, словно его гнала какая-то невидимая, неодолимая сила. Мать – несмотря на присутствие управляющего, она стояла здесь с распущенными еще с ночи, взъерошенными волосами – сначала, стиснув руки, взглянула на отца, а потом сделала два шага к Грегору и рухнула, разметав вокруг себя юбки, опустив к груди лицо, так что его совсем не стало видно. Отец угрожающе сжал кулак, словно желая вытолкнуть Грегора в его комнату, потом нерешительно оглядел гостиную, закрыл руками глаза и заплакал, и могучая его грудь сотрясалась.

Грегор вовсе и не вошел в гостиную, а прислонился изнутри к закрепленной створке, отчего видны были только половина его туловища и заглядывавшая в комнату голова, склоненная набок. Тем временем сделалось гораздо светлее; на противоположной стороне улицы четко вырисовывался кусок бесконечного серо-черного здания – это была больница – с равномерно и четко разрезавшими фасад окнами; дождь еще шел, но только большими, в отдельности различимыми и как бы отдельно же падавшими на землю каплями. Посуда для завтрака стояла на столе в огромном количестве, ибо для отца завтрак был важнейшей трапезой дня, тянувшейся у него, за чтением газет, часами. Как раз на противоположной стене висела фотография Грегора времен его военной службы; на ней был изображен лейтенант, который, положив руку на эфес шпаги и беззаботно улыбаясь, внушал уважение своей выправкой и своим мундиром. Дверь в переднюю была отворена, и так как входная дверь тоже была открыта, виднелась лестничная площадка и начало уходившей вниз лестницы.

– Ну вот, – сказал Грегор, отлично сознавая, что спокойствие сохранил он один, – сейчас я оденусь, соберу образцы и поеду. А вам хочется, вам хочется, чтобы я поехал? Ну вот, господин управляющий, вы видите, я не упрямец, я работаю с удовольствием; разъезды утомительны, но я не мог бы жить без разъездов. Куда же вы, господин управляющий? В контору? Да? Вы доложите обо всем? Иногда человек не в состоянии работать, но тогда как

раз самое время вспомнить о прежних своих успехах в надежде, что тем внимательней и прилежнее будешь работать в дальнейшем, по устранении помехи. Ведь я так обязан хозяину, вы же отлично это знаете. С другой стороны, на мне лежит забота о родителях и о сестре. Я попал в беду, но я выкарабкаюсь. Только не ухудшайте моего и без того трудного положения. Будьте в фирме на моей стороне! Коммивояжеров не любят, я знаю. Думают, они зарабатывают бешеные деньги и при этом живут в свое удовольствие. Никто просто не задумывается над таким предрассудком. Но вы, господин управляющий, вы знаете, как обстоит дело, знаете лучше, чем остальной персонал, и даже, говоря между нами, лучше, чем сам хозяин, который, как предприниматель, легко может ошибиться в своей оценке в невыгодную для того или иного служащего сторону. Вы отлично знаете также; что, находясь почти весь год вне фирмы, коммивояжер легко может стать жертвой сплетни, случайностей и беспочвенных обвинений, защититься от которых он совершенно не в силах, так как по большей части он о них ничего не знает и только потом, когда, измотанный, возвращается из поездки, испытывает их скверные, уже далекие от причин последствия на собственной шкуре. Не уходите, господин управляющий, не дайте мне ни одним словом понять, что вы хотя бы отчасти признаете мою правоту!

Но управляющий отвернулся, едва Грегор заговорил, и, надувшись, глядел на него только поверх плеча, которое непрестанно дергалось. И во время речи Грегора он ни секунды не стоял на месте, а удалялся, не спуская с Грегора глаз, к двери – удалялся, однако, очень медленно, словно какой-то тайный запрет не позволял ему покидать комнату. Он был уже в передней, и, глядя на то, как неожиданно резко он сделал последний шаг из гостиной, можно было подумать, что он только что обжег себе ступню. А в передней он протянул правую руку к лестнице, словно там его ждало прямо-таки неземное блаженство.

Грегор понимал, что он ни в коем случае не должен отпускать управляющего в таком настроении, если, не хочет поставить под удар свое положение в фирме. Родители не сознавали всего этого так ясно; с годами они привыкли думать, что в этой фирме Грегор устроился на всю жизнь, а свалившиеся на них сейчас заботы и вовсе лишили их проницательности. Но Грегор этой проницательностью обладал. Управляющего нужно было задержать, успокоить, убедить и в конце концов расположить а свою пользу; ведь от этого зависела будущность Грегора и его семьи! Ах, если бы сестра не ушла! Она умна, она плакала уже тогда, когда Грегор еще спокойно лежал на спине. И, конечно же, управляющий, этот дамский угодник, повиновался бы ей; она закрыла бы входную дверь и своими уговорами рассеяла бы его страхи. Но сестра-то как раз и ушла, Грегор должен был действовать сам. И, не подумав о том, что совсем еще не знает теперешних своих возможностей передвижения, не подумав и о том, что его речь, возможно и даже вероятней всего, снова осталась непонятой, он покинул створку дверей; пробрался через проход; хотел было направиться к управляющему, – который, выйдя уже на площадку, смешно схватился обеими руками за перила, – но тут же, ища опоры, со слабым криком упал на все свои лапки. Как только это случилось, телу его впервые за это утро стало удобно; под лапками была твердая почва; они, как он к радости своей отметил, отлично его слушались; даже сами стремились перенести его туда, куда он хотел; и он уже решил, что вот-вот все его муки окончательно прекратятся. Но в тот самый миг, когда он покачивался от толчка, лежа на полу неподалеку от своей матери, как раз напротив нее, мать, которая, казалось, совсем оцепенела, вскочила вдруг на ноги, широко развела руки, растопырила пальцы, закричала: «Помогите! Помогите ради бога!» – склонила голову, как будто хотела получше разглядеть Грегора, однако вместо этого бессмысленно отбежала назад; забыла, что позади нее стоит накрытый стол; достигнув его, она, словно по рассеянности, поспешно на него села и, кажется, совсем не заметила, что

рядом с ней из опрокинутого большого кофейника хлещет на ковер кофе.

– Мама, мама, – тихо сказал Грегор и поднял на нее глаза.

На мгновение он совсем забыл об управляющем; однако при виде льющегося кофе он не удержался и несколько раз судорожно глотнул воздух. Увидев это, мать снова вскрикнула, спрыгнула со стола и упала на грудь поспешившему ей навстречу отцу. Но у Грегора не было сейчас времени заниматься родителями; управляющий был уже на лестнице; положив подбородок на перила, он бросил последний, прощальный взгляд назад. Грегор пустился было бегом, чтобы вернее его догнать; но управляющий, видимо, догадался о его намерении, ибо, перепрыгнув через несколько ступенек, исчез. Он только воскликнул:

«Фу!» – и звук этот разнесся по лестничной клетке. К сожалению, бегство управляющего, видимо, вконец расстроило державшегося до сих пор сравнительно стойко отца, потому что вместо того, чтобы самому побежать за управляющим или хотя бы не мешать Грегору догнать его, он схватил правой рукой трость управляющего, которую тот вместе со шляпой и пальто оставил на стуле, а левой взял со стола большую газету и, топая ногами, размахивая газетой и палкой, стал загонять Грегора в его комнату. Никакие просьбы Грегора не помогли, да и не понимал отец никаких его просьб; как бы смиренно Грегор ни мотал головой, отец только сильнее и сильнее топал ногами. Мать, несмотря на холодную погоду, распахнула окно настежь и, высунувшись в него, спрятала лицо в ладонях. Между окном и лестничной клеткой образовался сильный сквозняк, занавески взлетели, газеты на столе зашуршали, несколько листов поплыло по полу: Отец неумолимо наступал, издавая, как дикарь, шипящие звуки. А Грегор еще совсем не научился пятиться, он двигался назад действительно очень медленно. Если бы Грегор повернулся, он сразу же оказался бы в своей комнате, но он боялся раздражить отца медлительностью своего поворота, а отцовская палка в любой миг могла нанести ему смертельный удар по спине или по голове. Наконец, однако, ничего другого Грегору все-таки не осталось, ибо он, к ужасу своему, увидел, что, пятясь назад, не способен даже придерживаться определенного направления; и поэтому, не переставая боязливо коситься на отца, он начал – по возможности быстро, на самом же деле очень медленно – поворачиваться. Отец, видно, оценил его добрую волю и не только не мешал ему поворачиваться, но даже издали направлял его движение кончиком своей палки. Если бы только не это несносное шипение отца! Из-за него Грегор совсем терял голову. Он уже заканчивал поворот, когда, прислушиваясь к этому шипению, ошибся и повернул немного назад. Но когда он наконец благополучно направил голову в раскрытую дверь, оказалось, что туловище его слишком широко, чтобы свободно в нее пролезть. Отец в его теперешнем состоянии, конечно, не сообразил, что надо открыть другую створку двери и дать Грегору проход. У него была одна навязчивая мысль – как можно скорее загнать Грегора в его комнату. Никак не потерпел бы он и обстоятельной подготовки, которая требовалась Грегору, чтобы выпрямиться во весь рост и таким образом, может быть, пройти через дверь. Словно не было никакого препятствия, он гнал теперь Грегора вперед с особенным шумом; звуки, раздававшиеся позади Грегора, уже совсем не походили на голос одного только отца; тут было и в самом деле не до шуток, и Грегор – будь что будет – втиснулся в дверь. Одна сторона его туловища поднялась, он наискось лег в проходе, один его бок был совсем изранен, на белой двери остались безобразные пятна; вскоре он застрял и уже не мог самостоятельно двигаться дальше, на одном боку лапки повисли, дрожа, вверху; на другом они были больно прижаты к полу. И тогда отец с силой дал ему сзади поистине спасительного теперь пинка, и Грегор, обливаясь кровью, влетел в свою комнату. Дверь захлопнули палкой, и наступила долгожданная тишина.

Лишь в сумерках очнулся Грегор от тяжелого, похожего на обморок сна. Если бы его и не побеспокоили, он все равно проснулся бы ненамного позднее, так как чувствовал себя достаточно отдохнувшим и выспавшимся, но ему показалось, что разбудили его чьи-то легкие шаги и звук осторожно запираемой двери, выходившей в переднюю. На потолке и на верхних частях мебели лежал проникавший с улицы свет электрических фонарей, но внизу, у Грегора, было темно. Медленно, еще неуклюже шаря своими щупальцами, которые он только теперь начинал ценить, Грегор подполз к двери, чтобы досмотреть, что там произошло. Левый его бок казался сплошным длинным, неприятно саднящим рубцом, и он по-настоящему хромал на оба ряда своих ног. В ходе утренних приключений одна ножка – чудом только одна – была тяжело ранена и безжизненно волочилась по полу.

Лишь у двери он понял, что, собственно, его туда повлекло; это был запах чего-то съедобного. Там стояла миска со сладким молоком, в котором плавали ломтики белого хлеба. Он едва не засмеялся от радости, ибо есть ему хотелось еще сильнее, чем утром, и чуть ли не с глазами окунул голову в молоко. Но вскоре он разочарованно вытащил ее оттуда; мало того, что из-за раненого левого бока есть ему было трудно, – а есть он мог, только широко разевая рот и работая всем своим туловищем, – молоко, которое всегда было его любимым напитком и которое сестра, конечно, потому и принесла, показалось ему теперь совсем невкусным; он почти с отвращением отвернулся от миски и пополз назад, к середине комнаты.

В гостиной, как увидел Грегор сквозь щель в двери, зажгли свет, но если обычно отец в это время громко читал матери, а иногда и сестре вечернюю газету, то сейчас не было слышно ни звука. Возможно, впрочем, что это чтение, о котором ему всегда рассказывала и писала сестра, в последнее время вообще вышло из обихода. Но и кругом было очень тихо, хотя в квартире, конечно, были люди. «До чего же, однако, тихую жизнь ведет моя семья», – сказал себе Грегор и, уставившись в темноту, почувствовал великую гордость от сознания, что он сумел добиться для своих родителей и сестры такой жизни в такой прекрасной квартире. А что, если этому покою, благополучию, довольству пришел теперь ужасный конец? Чтобы не предаваться подобным мыслям, Грегор решил размяться и принялся ползать по комнате.

Один раз в течение долгого вечера чуть приоткрылась, но тут же захлопнулась одна боковая дверь и еще раз – другая; кому-то, видно, хотелось войти, но опасения взяли верх. Грегор остановился непосредственно у двери в гостиную, чтобы каким-нибудь образом залучить нерешительного посетителя или хотя бы узнать, кто это, но дверь больше не отворялась, и ожидание Грегора оказалось напрасным. Утром, когда двери были заперты, все хотели войти к нему, теперь же, когда одну дверь он открыл сам, а остальные были, несомненно, отперты в течение дня, никто не входил, а ключи между тем торчали снаружи.

Лишь поздно ночью погасили в гостиной свет, и тут сразу выяснилось, что родители и сестра до сих пор бодрствовали, потому что сейчас, как это было отчетливо слышно, они все удалились на цыпочках. Теперь, конечно, до утра к Грегору никто не войдет, значит, у него было достаточно времени, чтобы без помех поразмыслить, как ему перестроить свою жизнь. Но высокая пустая комната, в которой он вынужден был плашмя лежать на полу, пугала его, хотя причины своего страха он не понимал, ведь он жил в этой комнате вот уже пять лет, и, повернувшись почти безотчетно, он не без стыда поспешил уползти под диван, где, несмотря на то, что спину ему немного прижало, а голову уже нельзя было поднять, он сразу же почувствовал себя очень уютно и пожалел только, что туловище его слишком широко, чтобы

поместиться целиком под диваном.

Там пробыл он всю ночь, проводя ее отчасти в дремоте, которую то и дело вспугивал голод, отчасти же в заботах и смутных надеждах, неизменно приводивших его к заключению, что покамест он должен вести себя спокойно и обязан своим терпением и тактом облегчить семье неприятности, которые он причинил ей теперешним своим состоянием.

Уже рано утром – была еще почти ночь – Грегору представился случай испытать твердость только что принятого решения, когда сестра, почти совсем одетая, открыла дверь из передней и настороженно заглянула к нему в комнату. Она не сразу заметила Грегора, но, увидев его под диваном – ведь где-то, о господи, он должен был находиться, не мог же он улететь! – испугалась так, что, не совладав с собой, захлопнула дверь снаружи. Но словно раскаявшись в своем поведении, она тотчас же открыла дверь снова и на цыпочках, как к тяжелобольному или даже как к постороннему, вошла в комнату. Грегор высунул голову к самому краю дивана и стал следить за сестрой. Заметит ли она, что он оставил молоко, причем вовсе не потому, что не был голоден, и принесет ли какую-нибудь другую еду, которая подойдет ему больше? Если бы она не сделала этого сама, он скорее бы умер с голоду, чем обратил на это ее внимание, хотя его так и подмывало выскочить из-под дивана, броситься к ногам сестры и попросить у нее какой-нибудь хорошей еды. Но сразу же с удивлением заметив полную еще миску, из которой только чуть-чуть расплескалось молоко, сестра немедленно подняла ее, правда, не просто руками, а при помощи тряпки, и вынесла прочь. Грегору было очень любопытно, что она принесет взамен, и он стал строить всяческие догадки на этот счет. Но он никак не додумался бы до того, что сестра, по своей доброте, действительно сделала. Чтобы узнать его вкус, она принесла ему целый выбор кушаний, разложив всю эту снедь на старой газете. Тут были лежалые, с гнильцой овощи; оставшиеся от ужина кости, покрытые белым застывшим соусом; немного изюму и миндаля; кусок сыру, который Грегор два дня назад объявил несъедобным; ломоть сухого хлеба, ломоть хлеба, намазанный маслом, и ломоть хлеба, намазанный маслом и посыпанный солью. Вдобавок ко всему этому она поставила ему ту же самую, раз и навсегда, вероятно, выделенную для Грегора миску, налив в нее воды. Затем она из деликатности, зная, что при ней Грегор не станет есть, поспешила удалиться и даже повернула ключ в двери, чтобы показать Грегору, что он может устраиваться, как ему будет удобнее. Лапки Грегора, когда он теперь направился к еде, замелькали одна быстрее другой. Да и раны его, как видно, совсем зажили, он не чувствовал уже никаких помех и, удивившись этому, вспомнил, как месяц с лишним назад он слегка обрезал палец ножом и как не далее чем позавчера эта рана еще причиняла ему довольно сильную боль. «Неужели я стал теперь менее чувствителен?» – подумал он и уже жадно влился в сыр, к которому его сразу потянуло настойчивее, чем к какой-либо другой еде. Со слезящимися от наслаждения глазами он быстро уничтожил подряд сыр, овощи, соус; свежая пища, напротив, ему не нравилась, даже запах ее казался ему несносным, и он оттаскивал в сторону от нее куски, которые хотел съесть. Он давно уже управился с едой и лениво лежал на том же месте, где ел, когда сестра в знак того, что ему пора удалиться, медленно повернула ключ. Это его сразу испугнуло, хотя он уже почти дремал, и он опять поспешил под диван. Но ему стоило больших усилий пробыть под диваном даже то короткое время, покуда сестра находилась в комнате, ибо от обильной еды туловище его несколько округлилось и в тесноте ему было трудно дышать. Превозмогая слабые приступы удушья, он глядел выпученными глазами, как ничего не подозревавшая сестра смела веником в одну кучу не только его объедки, но и снедь, к которой Грегор вообще не притрагивался, словно и это уже не пойдет впрок, как она поспешно выбросила все это в ведро, прикрыла его дощечкой и вынесла. Не успела она отвернуться, как Грегор уже вылез из-под дивана,

вытянулся и раздুলся.

Таким образом Грегор получал теперь еду ежедневно – один раз утром, когда родители и прислуга еще спали, а второй раз после общего обеда, когда родители опять-таки ложились поспать, а прислугу сестра усылала из дому с каким-нибудь поручением. Они тоже, конечно, не хотели, чтобы Грегор умер с голоду, но знать все подробности кормления Грегора им было бы, вероятно, невыносимо тяжело, и, вероятно, сестра старалась избавить их хотя бы от маленьких огорчений, потому что страдали они и в самом деле достаточно.

Под каким предлогом выпроводили из квартиры в то первое утро врача и слесаря, Грегор так и не узнал: поскольку его не понимали, никому, в том числе и сестре, не приходило в голову, что он-то понимает других, и поэтому, когда сестра бывала в его комнате, ему доводилось слышать только вздохи да взывания к святым. Лишь позже, когда она немного привыкла ко всему – о том, чтобы привыкнуть совсем, не могло быть, конечно, и речи, – Грегор порой ловил какое-нибудь явно доброжелательное замечание. «Сегодня угощение пришлось ему по вкусу», – говорила она, если Грегор съедал все дочиста, тогда как в противном случае, что постепенно стало повторяться все чаще и чаще, она говорила почти печально: «Опять все осталось».

Но не узнавая никаких новостей непосредственно, Грегор подслушивал разговоры в соседних комнатах, и стоило ему откуда-либо услышать голоса, он сразу же спешил к соответствующей двери и прижимался к ней всем телом. Особенно в первое время не было ни одного разговора, который так или иначе, хотя бы и тайно, его не касался. В течение двух дней за каждой трапезой совещались о том, как теперь себя вести; но и между трапезами говорили на ту же тему, и дома теперь всегда бывало не менее двух членов семьи, потому что никто, видимо, не хотел оставаться дома один, а покидать квартиру всем сразу никак нельзя было. Кстати, прислуга – было не совсем ясно, что именно знала она о случившемся, – в первый же день, упав на колени, попросила мать немедленно отпустить ее, а прощаясь через четверть часа после этого, со слезами благодарила за увольнение как за величайшую милость и дала, хотя этого от нее вовсе не требовали, страшную клятву, что никому ни о чем не станет рассказывать.

Пришлось сестре вместе с матерью заняться стряпней; это не составило, впрочем, особого труда, ведь никто почти ничего не ел. Грегор то и дело слышал, как они тщетно уговаривали друг друга поесть и в ответ раздавалось «Спасибо, я уже сыт» или что-нибудь подобное. Пить, кажется, тоже перестали. Сестра часто спрашивала отца, не хочет ли он пива, и охотно вызывалась сходить за ним, а когда отец молчал, говорила, надеясь этим избавить, его от всяких сомнений, что может послать за пивом дворничиху, но тогда отец отвечал решительным «нет», и больше об этом не заговаривали.

Уже в течение первого дня отец разъяснил матери и сестре имущественное положение семьи и виды на будущее. Он часто вставал из-за стола и извлекал из своей маленькой домашней кассы, которая сохранилась от его погоревшей пять лет назад фирмы, то какую-нибудь квитанцию, то записную книжку. Слышно было, как он отпирает сложный замок и, достав то, что искал, опять поворачивал ключ. Эти объяснения отца были отчасти первой утешительной новостью, услышанной Грегором с начала его заточения. Он считал, что от того предприятия у отца решительно ничего не осталось, во всяком случае, отец не утверждал противного, а Грегор его об этом не спрашивал. Единственной в ту пору заботой Грегора было сделать все, чтобы семья как можно скорей забыла банкротство, приведшее всех в состояние полной безнадежности. Поэтому он начал тогда трудиться с особым пылом и чуть ли не сразу сделался из маленького приказчика вояжером, у которого были, конечно, совсем другие заработки и чьи деловые успехи тотчас же, в виде комиссионных,

превращались в наличные деньги, каковые и можно было положить дома на стол перед удивленной и счастливой семьей. То были хорошие времена, и потом они уже никогда, по крайней мере в прежнем великолепии, не повторялись, хотя Грегор и позже зарабатывал столько, что мог содержать и действительно содержал семью. К этому все привыкли – и семья, и сам Грегор; деньги у него с благодарностью принимали, а он охотно их давал, но особой теплоты больше не возникало. Только сестра осталась все-таки близка Грегору; и так как она в отличие от него очень любила музыку и трогательно играла на скрипке, у Грегора была тайная мысль определить ее на будущий год в консерваторию, несмотря на большие расходы, которые это вызовет и которые придется покрыть за счет чего-то другого. Во время коротких задержек Грегора в городе в разговорах с сестрой часто упоминалась консерватория, но упоминалась всегда как прекрасная, несбыточная мечта, и даже эти невинные упоминания вызывали у родителей неудовольствие; однако Грегор думал о консерватории очень определенно и собирался торжественно заявить о своем намерении в канун рождества.

Такие, совсем бесполезные в нынешнем его состоянии мысли вертелись в голове Грегора, когда он, прислушиваясь, стоя на прилипал к двери. Утомившись, он нет-нет да переставал слушать и, нечаянно склонив голову, ударялся о дверь, но тотчас же опять выпрямлялся, так как малейший учиненный им шум был слышен за дверью и заставлял всех умолкать. «Что он там опять вытворяет?» – говорил после небольшой паузы отец, явно глядя на дверь, и лишь после этого постепенно возобновлялся прерванный разговор.

Так вот, постепенно (ибо отец повторялся в своих объяснениях – отчасти потому, что давно уже отошел от этих дел, отчасти же потому, что мать не все понимала с первого раза) Грегор с достаточными подробностями узнал, что, несмотря на все беды, от старых времен сохранилось еще маленькое состояние и что оно, так как процентов не трогали, за эти годы даже немного выросло. Кроме того, оказалось, что деньги, которые ежемесячно приносил домой Грегор – он оставлял себе всего несколько гульденов, – уходили не целиком и образовали небольшой капитал. Стоя за дверью, Грегор усиленно кивал головой, обрадованный такой неожиданной предусмотрительностью и бережливостью. Вообще-то он мог бы этими лишними деньгами погасить часть отцовского долга и приблизить тот день, когда он, Грегор, волей бы отказался от своей службы, но теперь оказалось несомненно лучше, что отец распорядился деньгами именно так.

Денег этих, однако, было слишком мало, чтобы семья могла жить на проценты; их хватило бы, может быть, на год жизни, от силы на два, не больше. Они составляли, таким образом, только сумму, которую следовало, собственно, отложить на черный день, а не тратить; а деньги на жизнь надо было зарабатывать. Отец же был хоть и здоровым, но старым человеком, он уже пять лет не работал и не очень-то на себя надеялся; за эти пять лет, оказавшиеся первыми каникулами в его хлопотливой, но неудачливой жизни, он очень обрюзг и стал поэтому довольно тяжел на подъем. Уж не должна ли была зарабатывать деньги старая мать, которая страдала астмой, с трудом передвигалась даже по квартире и через день, задыхаясь, лежала на кушетке возле открытого окна? Или, может быть, их следовало зарабатывать сестре, которая в свои семнадцать лет была еще ребенком и имела полное право жить так же, как до сих пор, – изящно одеваться, спать допоздна, помогать в хозяйстве, участвовать в каких-нибудь скромных развлечениях и прежде всего играть на скрипке. Когда заходила речь об этой необходимости заработка, Грегор всегда отпуская дверь и бросался на прохладный кожаный диван, стоявший близ двери, потому что ему делалось жарко от стыда и от горя.

Он часто лежал там долгими ночами, не засыпая ни на одно мгновение, и часами терся о

кожу дивана или не жалея трудов, придвигал кресло к окну, вскарабкивался к проему и, упершись в кресло, припадал к подоконнику что было явно только каким-то воспоминанием о чувстве освобождения, охватывавшем его прежде, когда он выглядывал из окна. На самом же деле все сколько-нибудь отдаленные предметы он видел день ото дня все хуже и хуже; больницу напротив, которую он прежде проклинал – так она примелькалась ему, Грегор вообще больше не различал, и не зная он доподлинно, что живет на тихой, но вполне городской улице Шарлоттенштрассе, он мог бы подумать, что глядит из своего окна на пустыню, в которую неразлично слились серая земля и серое небо. Стоило внимательной сестре лишь дважды увидеть, что кресло стоит у окна, как она стала каждый раз, прибрав комнату, снова придвигать кресло к окну и даже оставлять отныне открытыми внутренние оконные створки.

Если бы Грегор мог поговорить с сестрой и поблагодарить ее за все, что она для него делала, ему было бы легче принимать ее услуги; а так он страдал из-за этого.

Правда, сестра всячески старалась смягчить мучительность создавшегося положения, и чем больше времени проходило, тем это, конечно, лучше у нее получалось, но ведь и Грегору все становилось гораздо яснее со временем. Самый ее приход бывал для него ужасен. Хотя вообще-то сестра усердно оберегала всех от зрелища комнаты Грегора, сейчас она, войдя, не тратила времени на то, чтобы закрыть за собой дверь, а бежала прямо к окну, поспешно, словно она вот-вот задохнется, распахивала его настежь, а затем, как бы ни было холодно, на минутку задерживалась у окна, глубоко дыша. Этой шумной спешкой она пугала Грегора два раза в день; он все время дрожал под диваном, хотя отлично знал, что она, несомненно, избавила бы его от страхов, если бы только могла находиться в одной комнате с ним при закрытом окне.

Однажды – со дня случившегося с Грегором превращения минуло уже около месяца, и у сестры, следовательно, не было особых причин удивляться его виду – она пришла немного раньше обычного и застала Грегора глядящим в окно, у которого он неподвижно стоял, являя собой довольно страшное зрелище. Если бы она просто не вошла в комнату, для Грегора не было бы в этом ничего неожиданного, так как, находясь у окна, он не позволял ей открыть его, но она не просто не вошла, а отпрянула назад и заперла дверь; постороннему могло бы показаться даже, что Грегор подстерегал ее и хотел укусить, Грегор, конечно, сразу же спрятался под диван, но ее возвращения ему пришлось ждать до полудня, и была в ней какая-то необычная встревоженность. Из этого он понял, что она все еще не выносит и никогда не сможет выносить его облика и что ей стоит больших усилий не убегать прочь при виде даже той небольшой части его тела, которая высовывается из-под дивана. Чтобы избавить сестру и от этого зрелища, он однажды перенес на спине – на эту работу ему потребовалось четыре часа – простыню на диван и положил ее таким образом, чтобы она скрывала его целиком и сестра, даже нагнувшись, не могла увидеть его. Если бы, по ее мнению, в этой простыне не было надобности, сестра могла бы ведь и убрать ее, ведь Грегор укрылся так не для удовольствия, это было достаточно ясно, но сестра оставила простыню на месте, и Грегору показалось даже, что он поймал благодарный взгляд, когда осторожно приподнял головой простыню, чтобы посмотреть, как приняла это нововведение сестра.

Первые две недели родители не могли заставить себя войти к нему, и он часто слышал, как они с похвалой отзывались о теперешней работе сестры, тогда как прежде они то и дело сердились на сестру, потому что она казалась им довольно пустой девицей. Теперь и отец и мать часто стояли в ожидании перед комнатой Грегора, покуда сестра там убирала, и, едва только она выходила оттуда, заставляли ее подробно рассказывать, в каком виде была комната, что ел Грегор, как он на этот раз вел себя и заметно ли хоть маленькое улучшение.

Впрочем, мать относительно скоро пожелала навестить Грегора, но отец и сестра удерживали ее от этого – сначала разумными доводами, которые Грегор, очень внимательно их выслушивая, целиком одобрял. Позднее удерживать ее приходилось уже силой, и когда она кричала: «Пустите меня к Грегору, это же мой несчастный сын! Неужели вы не понимаете, что я должна пойти к нему?» – Грегор думал, что, наверно, и в самом деле было бы хорошо, если бы мать приходила к нему. Конечно, не каждый день, но, может быть, раз в неделю; ведь она понимала все куда лучше, чем сестра, которая при всем своем мужестве была только ребенком и в конечном счете, наверно, только по детскому легкомыслию взяла на себя такую обузу.

Желание Грегора увидеть мать вскоре исполнилось. Заботясь о родителях, Грегор в дневное время уже не показывался у окна, ползать же по нескольким квадратным метрам пола долго не удавалось, лежать неподвижно было ему уже и ночами трудно, еда вскоре перестала доставлять ему какое бы то ни было удовольствие, и он приобрел привычку ползать для развлечения по стенам и по потолку. Особенно любил он висеть на потолке; это было совсем не то, что лежать на полу; дышалось свободнее, тело легко покачивалось; в том почти блаженном состоянии и рассеянности, в котором он там наверху пребывал, он подчас, к собственному своему удивлению, срывался и шлепался на пол. Но теперь он, конечно, владел своим телом совсем не так, как прежде, и с какой бы высоты он ни падал, он не причинял себе при этом никакого вреда. Сестра сразу заметила, что Грегор нашел новое развлечение – ведь ползая, он повсюду оставлял следы клейкого вещества, – и решила предоставить ему как можно больше места для этого занятия, выставив из комнаты мешавшую ему ползать мебель, то есть прежде всего сундук и письменный стол. Но она была не в состоянии сделать это одна; позвать на помощь отца она не осмеливалась, прислуга же ей, безусловно, не помогла бы, ибо, хотя эта шестнадцатилетняя девушка, нанятая после ухода прежней кухарки, не отказывалась от места, она испросила разрешение держать кухню на запоре и открывать дверь лишь по особому оклику; поэтому сестре ничего не оставалось, как однажды, в отсутствие отца, привести мать. Та направилась к Грегору с возгласами взволнованной радости, но перед дверью его комнаты умолкла. Сестра, конечно, сначала проверила, все ли в порядке в комнате; лишь после этого она впустила мать. Грегор с величайшей поспешностью скомкал и еще дальше потянул простыню; казалось, что простыня брошена на диван и в самом деле случайно. На этот раз Грегор не стал выглядывать из-под простыни; он отказался от возможности увидеть мать уже в этот раз, но был рад, что она наконец пришла.

– Входи, его не видно, – сказала сестра и явно повела мать за руку.

Грегор слышал, как слабые женщины старались сдвинуть с места тяжелый старый сундук и как сестра все время брала на себя большую часть работы, не слушая предостережений матери, которая боялась, что та надорвется. Это длилось очень долго. Когда они провозились уже с четверть часа, мать сказала, что лучше оставить сундук там, где он стоит: во-первых, он слишком тяжел и они не управятся с ним до прихода отца, а стоя посреди комнаты, сундук и вовсе преградит Грегору путь, а во-вторых, еще неизвестно, приятно ли Грегору, что мебель выносят. Ей, сказала она, кажется, что ему это скорей неприятно; ее, например, вид голой стены прямо-таки удручает; почему же не должен он удручать и Грегора, коль скоро тот привык к этой мебели и потому почувствует себя в пустой комнате совсем заброшенным.

– И разве, – заключила мать совсем тихо, хотя она и так говорила почти шепотом, словно не желая, чтобы Грегор, местонахождения которого она не знала, услышал хотя бы звук ее голоса, а в том, что слов он не понимает, она не сомневалась, – разве, убирая мебель, мы не показываем, что перестали надеяться на какое-либо улучшение и безжалостно предоставляем

его самому себе? По-моему, лучше всего постараться оставить комнату такой же, какой она была прежде, чтобы Грегор, когда он к нам возвратится, не нашел в ней никаких перемен и поскорее забыл это время.

Услыхав слова матери, Грегор подумал, что отсутствие непосредственного общения с людьми при однообразной жизни внутри семьи помутило, видимо, за эти два месяца его разум, ибо иначе он никак не мог объяснить себе появившейся у него вдруг потребности оказаться в пустой комнате. Неужели ему и в самом деле хотелось превратить свою теплую, уютно обставленную наследственной мебелью комнату в пещеру, где он, правда, мог бы беспрепятственно ползать во все стороны, но зато быстро и полностью забыл бы свое человеческое прошлое? Ведь он и теперь уже был близок к этому, и только голос матери, которого он давно не слышал, его востормошил. Ничего не следовало удалять; все должно было оставаться на месте; благотворное воздействие мебели на его состояние было необходимо; а если мебель мешала ему бессмысленно ползать, то это шло ему не во вред, а на великую пользу.

Но сестра была, увы, другого мнения; привыкнув – и не без основания – при обсуждении дел Грегора выступать в качестве знатока наперекор родителям, она и сейчас сочла совет матери достаточным поводом, чтобы настаивать на удалении не только сундука, но и вообще всей мебели, кроме дивана, без которого никак нельзя было обойтись. Требование это было вызвано, конечно, не только ребяческим упрямством сестры и ее так неожиданно и так нелегко обретенной в последнее время самоуверенностью; нет, она и в самом деле видела, что Грегору нужно много места для передвижения, а мебелью, судя по всему, он совершенно не пользовался. Может быть, впрочем, тут сказалась и свойственная девушкам этого возраста пылкость воображения, которая всегда рада случаю дать себе волю и теперь побуждала Грету сделать положение Грегора еще более устрашающим, чтобы оказывать ему еще большие, чем до сих пор, услуги. Ведь в помещение, где были бы только Грегор да голые стены, вряд ли осмелился бы кто-либо, кроме Греты, войти.

Поэтому она не вняла совету матери, которая, испытывая в этой комнате какую-то неуверенность и тревогу, вскоре умолкла и принялась в меру своих сил помогать сестре, выставлявшей сундук за дверь. Без сундука Грегор, на худой конец, мог еще обойтись, но письменный стол должен был остаться. И едва обе женщины, вместе с сундуком, который они, кряхтя, толкали, покинули комнату, Грегор высунул голову из-под дивана, чтобы найти способ осторожно и по возможности деликатно вмешаться. Но на беду первой вернулась мать, а Грета, оставшаяся одна в соседней комнате, раскачивала, обхватив его обеими руками, сундук, который, конечно, так и не сдвинула с места. Мать же не привыкла к виду Грегора, она могла даже заболеть, увидев его, и поэтому Грегор испуганно попятился к другому краю дивана, отчего висевшая спереди простыня все же зашевелилась. Этого было достаточно, чтобы привлечь внимание матери. Она остановилась, немного постояла и ушла к Грете.

Хотя Грегор все время твердил себе, что ничего особенного не происходит и что в квартире просто переставляют какую-то мебель, непрерывное хождение женщин, их негромкие возгласы, звуки скребущей пол мебели – все это, как он вскоре признался себе, показалось ему огромным, всеохватывающим переполохом; и, втянув голову, прижав ноги к туловищу, а туловищем плотно прильнув к полу, он вынужден был сказать себе, что не выдержит этого долго. Они опустошали его комнату, отнимали у него все, что было ему дорого; сундук, где лежали его лобзик и другие инструменты, они уже вынесли; теперь они двигали успевший уже продавить паркет письменный стол, за которым он готовил уроки, учась в торговом, в реальном и даже еще в народном училище, – и ему было уже некогда вникать в добрые намерения этих женщин, о существовании которых он, кстати, почти

забыл, ибо от усталости они работали уже молча и был слышен только тяжелый топот их ног.

Поэтому он выскочил из-под дивана – женщины были как раз в смежной комнате, они переводили дух, опершись на письменный стол, – четырежды поменял направление бега, и впрямь не зная, что ему спасать в первую очередь, увидел особенно заметный на уже пустой стене портрет дамы в мехах, поспешно вскарабкался на него и прижался к стеклу, которое, удерживая его, приятно охлаждало ему живот. По крайней мере этого портрета, целиком закрытого теперь Грегором, у него наверняка не отберет никто. Он повернул голову к двери гостиной, чтобы увидеть женщин, когда они вернутся.

Они отдыхали не очень-то долго и уже возвращались; Грета почти несла мать, обняв ее одной рукой.

– Что же мы возьмем теперь? – сказала Грета и оглянулась. Тут взгляд ее встретился со взглядом висевшего на стене Грегора. По-видимому, благодаря присутствию матери сохранив самообладание, она склонилась к ней, чтобы помешать ей обернуться, и сказала – сказала, впрочем, дрожа и наобум:

– Не возвратиться ли нам на минутку в гостиную? Намерение Греты было Грегору ясно – она хотела увести мать в безопасное место, а потом согнать его со стены. Ну что ж, пусть попробует! Он сидит на портрете и не отдаст его. Скорей уж он вцепится Грете в лицо.

Но слова Греты как раз и встревожили мать, она отступила в сторону, увидела огромное бурое пятно на цветастых обоях, вскрикнула, прежде чем до ее сознания по-настоящему дошло, что это и есть Грегор, визгливо-пронзительно: «Ах, боже мой, боже мой!» – упала с раскинутыми в изнеможении руками на диван и застыла.

– Эй, Грегор! – крикнула сестра, подняв кулак и сверкая глазами.

Это были первые после случившегося с ним превращения слова, обращенные к нему непосредственно. Она побежала в смежную комнату за какими-нибудь каплями, с помощью которых можно было бы привести в чувство мать; Грегор тоже хотел помочь матери – спасти портрет время еще было; но Грегор прочно прилип к стеклу и насилиу от него оторвался; затем он побежал в соседнюю комнату, словно мог дать сестре какой-то совет, как в прежние времена, но вынужден был празднично стоять позади нее; перебирая разные пузырьки, она обернулась и испугалась; какой-то пузырек упал на пол и разбился; осколок ранил Грегору лицо, а его всего обрызгало каким-то едким лекарством; не задерживаясь долее, Грета взяла столько пузырьков, сколько могла захватить, и побежала к матери; дверь она захлопнула ногой. Теперь Грегор оказался отрезан от матери, которая по его вине была, возможно, близка к смерти; он не должен был открывать дверь, если не хотел прогнать сестру, а сестре следовало находиться с матерью; теперь ему ничего не оставалось, кроме как ждать; и, казнясь раскаянием и тревогой, он начал ползать, облазил все: стены, мебель и потолок – и наконец, когда вся комната уже завертелась вокруг него, в отчаянии упал на середину большого стола.

Прошло несколько мгновений. Грегор без сил лежал на столе, кругом было тихо, возможно, это был добрый знак. Вдруг раздался звонок. Прислуга, конечно, заперлась у себя в кухне, и открывать пришлось Грете. Это вернулся отец.

– Что случилось? – были его первые слова; должно быть, вид Греты все ему выдал. Грета отвечала глухим голосом, она, очевидно, прижалась лицом к груди отца:

– Мама упала в обморок, но ей уже лучше. Грегор вырвался.

– Ведь я же этого ждал, – сказал отец, – ведь я же вам всегда об этом твердил, но вы, женщины, никого не слушаете.

Грегору было ясно, что отец, превратно истолковав слишком скупые слова Греты, решил, что Грегор пустил в ход силу. Поэтому теперь Грегор должен был попытаться как-то

смягчить отца, ведь объясниться с ним у него не было ни времени, ни возможности. И подбежав к двери своей комнаты, он прижался к ней, чтобы отец, войдя из передней, сразу увидел, что Грегор исполнен готовности немедленно вернуться к себе и что не нужно, следовательно, гнать его назад, а достаточно просто отворить дверь – и он сразу исчезнет.

Но отец был не в том настроении, чтобы замечать подобные тонкости.

– А! – воскликнул он, как только вошел, таким тоном, словно был одновременно зол и рад. Грегор отвел голову от двери и поднял ее навстречу отцу. Он никак не представлял себе отца таким, каким сейчас увидел его; правда, в последнее время, начав ползать по всей комнате, Грегор уже не следил, как прежде, за происходившим в квартире и теперь, собственно, не должен был удивляться никаким переменам. И все же, и все же – неужели это был отец? Тот самый человек, который прежде устало зарывался в постель, когда Грегор отправлялся в деловые поездки; который в вечера приездов встречал его дома в халате и, не в состоянии встать с кресла, только приподнимал руки в знак радости; а во время редких совместных прогулок в какое-нибудь воскресенье или по большим праздникам в наглухо застегнутом старом пальто, осторожно выставляя вперед костылик, шагал между Грегором и матерью, – которые и сами-то двигались медленно, – еще чуть-чуть медленней, чем они, и если хотел что-либо сказать, то почти всегда останавливался, чтобы собрать около себя своих провожатых. Сейчас он был довольно-таки осанист; на нем был строгий синий мундир с золотыми пуговицами, какие носят банковские рассыльные; над высоким тугим воротником нависал жирный двойной подбородок; черные глаза глядели из-под кустистых бровей внимательно и живо; обычно растрепанные, седые волосы были безукоризненно причесаны на пробор и напوماжены. Он бросил на диван, дугой через всю комнату, свою фуражку с золотой монограммой какого-то, вероятно, банка и, спрятав руки в карманы брюк, отчего фалды длинного его мундира отогнулись назад, двинулся на Грегора с искаженным от злости лицом. Он, видимо, и сам не знал, как поступит; но он необычно высоко поднимал ноги, и Грегор поразился огромному размеру его подошв. Однако Грегор не стал мешкать, ведь он же с первого дня новой своей жизни знал, что отец считает единственно правильным относиться к нему с величайшей строгостью. Поэтому он побежал от отца, останавливаясь, как только отец останавливался, и спеша вперед, стоило лишь пошевелиться отцу. Так сделали они несколько кругов по комнате без каких-либо существенных происшествий, и так как двигались они медленно, все это даже не походило на преследование. Поэтому Грегор пока оставался на полу, боясь к тому же, что если он вскарабкается на стену или на потолок, то это покажется отцу верхом наглости. Однако Грегор чувствовал, что даже и такой беготни он долго не выдержит; ведь если отец делал один шаг, то ему, Грегору, приходилось проделывать за это же время бесчисленное множество движений. Одышка становилась все ощутимее, а ведь на его легкие нельзя было вполне полагаться и прежде. И вот, когда он, еле волоча ноги и едва открывая глаза, пытался собрать все силы для бегства не помышляя в отчаянии ни о каком другом способе спасения и уже почти забыв, что может воспользоваться стенами, заставленными здесь, правда, затейливой резной мебелью со множеством острых выступов и зубцов, – вдруг совсем рядом с ним упал и покатился впереди него какой-то брошенный сверху предмет. Это было яблоко; вдогонку за первым тотчас же полетело второе; Грегор в ужасе остановился; бежать дальше было бессмысленно, ибо отец решил бомбардировать его яблоками. Он наполнил карманы содержимым стоявшей на буфете вазы для фруктов и теперь, не очень-то тщательно целясь, швырял одно яблоко за другим. Как наэлектризованные, эти маленькие красные яблоки катались по полу и сталкивались друг с другом. Одно легко брошенное яблоко задело Грегору спину, но скатилось, не причинив ему вреда. Зато другое, пущенное сразу вслед, накрепко застряло в

спине у Грегора. Грегор хотел отползти подальше, как будто перемена места могла унять внезапную невероятную боль; но он почувствовал себя словно бы пригвожденным к полу и растянулся, теряя сознание. Он успел увидеть только, как распахнулась дверь его комнаты и в гостиную, опережая кричавшую что-то сестру, влетела мать в нижней рубашке – сестра раздела ее, чтобы облегчить ей дыхание во время обморока; как мать подбежала к отцу и с нее, одна за другой, свалились на пол развязанные юбки и как она, спотыкаясь о юбки, бросилась отцу на грудь и, обнимая его, целиком слившись с ним, – но тут зрение Грегора уже отказало, – охватив ладонями затылок отца, взмолилась, чтобы он сохранил Грегору жизнь.

Тяжелое ранение, от которого Грегор страдал более месяца (яблоко никто не отважился удалить, и оно так и осталось в теле наглядной памяткой), тяжелое это ранение напомнило, кажется, даже отцу, что, несмотря на свой нынешний плачевный и омерзительный облик, Грегор все-таки член семьи, что с ним нельзя обращаться как с врагом, а нужно во имя семейного долга подавить отвращение и терпеть, только терпеть.

И если из-за своей раны Грегор навсегда, вероятно, утратил прежнюю подвижность и теперь, чтобы пересечь комнату, ему, как старому инвалиду, требовалось несколько долгих-предолгих минут – о том, чтобы ползать вверх, нечего было и думать, – то за это ухудшение своего состояния он был, по его мнению, вполне вознагражден тем, что под вечер всегда отворялась дверь гостиной, дверь, за которой он начинал следить часа за два до этого, и, лежа в темноте своей комнаты, не видимый из гостиной, он мог видеть сидевших за освещенным столом родных и слушать их речи, так сказать, с общего разрешения, то есть совершенно иначе, чем раньше.

Это были, правда, уже не те оживленные беседы прежних времен, о которых Грегор всегда с тоской вспоминал в каморках гостиниц, когда падал, усталый, на влажную постель. Чаще всего бывало очень тихо. Отец вскоре после ужина засыпал в своем кресле; мать и сестра старались хранить тишину; мать, сильно нагнувшись вперед, ближе к свету, шила тонкое белье для магазина готового платья; сестра, поступившая в магазин продавщицей, занималась по вечерам стенографией и французским языком, чтобы, может быть, когда-нибудь позднее добиться лучшего места. Иногда отец просыпался и, словно не заметив, что спал, говорил матери: «Как ты сегодня опять долго шьешь!» – после чего тотчас же засыпал снова, а мать и сестра устало улыбались друг другу.

С каким-то упрямством отец отказывался снимать и дома форму рассыльного; и в то время как его халат без пользы висел на крючке, отец дремал на своем месте совершенно одетый, словно всегда был готов к службе и даже здесь только и ждал голоса своего начальника. Из-за этого его и поначалу-то не новая форма, несмотря на заботы матери и сестры, утратила опрятный вид, и Грегор, бывало, целыми вечерами глядел на эту хоть и сплошь в пятнах, но сверкавшую неизменно начищенными пуговицами одежду, в которой старик весьма неудобно и все же спокойно спал.

Когда часы били десять, мать пыталась тихонько разбудить отца и уговорить его лечь в постель, потому что в кресле ему не удавалось уснуть тем крепким сном, в котором он, начинавший службу в шесть часов, крайне нуждался. Но из упрямства, завладевшего отцом с тех пор, как он стал рассыльным, он всегда оставался за столом, хотя, как правило, засыпал снова, после чего лишь с величайшим трудом удавалось убедить его перейти из кресла в кровать. Сколько ни уговаривали его мать и сестра, он не меньше четверти часа медленно качал головой, не открывая глаз и не поднимаясь. Мать дергала его за рукав, говорила ему на ухо ласковые слова, сестра отрывалась от своих занятий, чтобы помочь матери, но на отца это не действовало. Он только еще глубже опускался в кресло. Лишь когда женщины брали его под мышки, он открывал глаза, глядел попеременно то на мать, то на сестру и говорил: «Вот она, жизнь. Вот мой покой на старости лет». И, опираясь на обеих женщин, медленно, словно не мог справиться с весом собственного тела, поднимался, позволял им довести себя до двери, а дойдя до нее, кивал им, чтобы они удалились, и следовал уже самостоятельно дальше, однако мать в спехе бросала шитье, а сестра – перо, чтобы побежать за отцом и помочь ему улечься в постель.

У кого в этой переутомленной и надрывавшейся от трудов семье оставалось время печься о Грегоре больше, чем то было безусловно необходимо? Расходы на хозяйство все больше сокращались; прислугу в конце концов рассчитали; для самой тяжелой работы приходила теперь по утрам и по вечерам огромная костистая женщина с седыми развевающимися волосами; все остальное, помимо своей большой швейной работы, делала мать. Приходилось даже продавать семейные драгоценности, которые мать и сестра с великим удовольствием надевала прежде в торжественных случаях, – Грегор узнавал об этом по вечерам, когда все обсуждали вырученную сумму. Больше всего, однако, сетовали всегда на то, что эту слишком большую по теперешним обстоятельствам квартиру нельзя покинуть, потому что неясно, как переселить Грегора. Но Грегор понимал, что переселению мешает не только забота о нем, его-то можно было легко перевезти в каком-нибудь ящике с отверстиями для воздуха; удерживали семью от перемены квартиры главным образом полная безнадежность и мысль о том, что с ними стряслось такое несчастье, какого ни с кем из их знакомых и родственников никогда не случалось. Семья выполняла решительно все, чего требует мир от бедных людей, отец носил завтраки мелким банковским служащим, мать надрывалась за шитьем белья для чужих людей, сестра, повинаясь покупателям, сновала за прилавком, но на большее у них не хватало сил. И рана на спине Грегора каждый раз начинала болеть заново, когда мать и сестра, уложив отца, возвращались в гостиную, но не брались за работу, а садились рядом, щека к щеке; когда мать, указывая на комнату Грегора, говорила теперь: «Закрой ту дверь, Грета» – и Грегор опять оказывался в темноте, а женщины за стеной вдвоем проливали слезы или сидели, уставясь в одну точку, без слез.

Ночи и дни Грегор проводил почти совершенно без сна. Иногда он думал, что вот откроется дверь и он снова, совсем как прежде, возьмет в свои руки дела семьи; в мыслях его после долгого перерыва вновь появлялись хозяин и управляющий, коммивояжеры и ученики-мальчики болван-дворник, два-три приятеля из других фирм, горничная из одной провинциальной гостиницы – милое мимолетное воспоминание, кассирша из одного шляпного магазина, за которой он всерьез, но слишком долго ухаживал, – все они появлялись вперемежку с незнакомыми или уже забытыми людьми, но вместо того, чтобы помочь ему и его семье, оказывались, все как один, неприступны, и он бывал рад, когда они исчезали. А потом он опять терял всякую охоту заботиться о семье, его охватывало возмущение плохим уходом, и, не представляя себе, чего бы ему хотелось съесть, он замыслил забраться в кладовку, чтобы взять все, что ему, хотя бы он и не был голоден, причиталось. Уже не раздумывая, чем бы доставить Грегору особое удовольствие, сестра теперь утром и днем, прежде чем бежать в свой магазин, ногою запихивала в комнату Грегора какую-нибудь еду, чтобы вечером, независимо от того, притронется он к ней или – как бывало чаще всего – оставит ее нетронутой, одним взмахом веника вымести эту снедь. Уборка комнаты, которой сестра занималась теперь всегда по вечерам, проходила как нельзя более быстро. По стенам тянулись грязные полосы, повсюду лежали кучи пыли и мусора. Первое время при появлении сестры Грегор забивался в особенно запущенные углы, как бы упрекая ее таким выбором места. Но если бы он даже стоял там неделями, сестра все равно не исправилась бы; она же видела грязь ничуть не хуже, чем он, она просто решила оставить ее. При этом она с совершенно не свойственной ей в прежние времена обидчивостью, овладевшей теперь вообще всей семьей, следила за тем, чтобы уборка комнаты Грегора оставалась только ее, сестры, делом. Однажды мать затеяла в комнате Грегора большую уборку, для чего извела несколько ведер воды – такое обилие влаги было, кстати, неприятно Грегору, и, обидевшись, он неподвижно распластался на диване, – но мать была за это наказана. Как только сестра заметила вечером перемену в комнате Грегора, она, до глубины души оскорбившись, вбежала

в гостиную и, несмотря на заклинания заламывавшей руки матери, разразилась рыданиями, на которые родители – отец, конечно, испуганно вскочил со своего кресла – глядели сначала беспомощно и удивленно; потом засуетились и они: отец, справа, стал упрекать мать за то, что она не предоставила эту уборку сестре; сестра же, слева, наоборот, кричала, что ей никогда больше не дадут убирать комнату Грегора; тем временем мать пыталась утешить в спальню отца, который от волнения совсем потерял власть над собой; сотрясаясь от рыданий, сестра колотила по столу своими маленькими кулачками; а Грегор громко шипел от злости, потому что никому не приходило в голову закрыть дверь и избавить его от этого зрелища и от этого шума.

Но даже когда сестре, измученной службой, надоело заботиться, как прежде, о Грегоре, матери не пришлось заменять ее, но без присмотра Грегор все-таки не остался. Теперь пришел черед служанки. Старая эта вдова, которая за долгую жизнь вынесла, вероятно, на своих могучих плечах немало горестей, в сущности не питала к Грегору отвращения. Без всякого любопытства она однажды случайно открыла дверь его комнаты и при виде Грегора, который, хотя его никто не гнал, от неожиданности забежал по полу, удивленно остановилась, сложив на животе руки. С тех пор она неизменно, утром и вечером, мимоходом приоткрывала дверь и заглядывала к Грегору. Сначала она даже подзывала его к себе словами, которые, вероятно, казались ей приветливыми, такими, например, как: «Поди-ка сюда, навозный жучок!» или: «Где наш жучище?» Грегор не отвечал ей, он не двигался с места, словно дверь вовсе не открывалась. Лучше бы этой служанке приказали ежедневно убирать его комнату, вместо того чтобы позволять ей без толку беспокоить его, когда ей заблагорассудится! Как-то ранним утром – в стекла бил сильный дождь, должно быть, уже признак наступающей весны, – когда служанка начала обычную свою болтовню, Грегор до того разозлился, что, словно бы изготовившись для нападения, медленно, впрочем, и нетвердо, повернулся к служанке. Та, однако, вместо того чтобы испугаться, только занесла вверх стоявший у двери стул и широко открыла при этом рот, и было ясно, что она намерена закрыть его не раньше, чем стул в ее руке опустится на спину Грегору.

– Значит, дальше не полезем? – спросила она, когда Грегор от нее отвернулся, и спокойно поставила стул в угол, на прежнее место.

Грегор теперь почти ничего не ел. Только когда он случайно проходил мимо приготовленной ему снеди, он для забавы брал кусок в рот, а потом, продержав его там несколько часов, большей частью выплевывал. Сперва он думал, что аппетит у него отбивает вид его комнаты, но как раз с переменами в своей комнате он очень быстро примирился. Сложилась уже привычка выставлять в эту комнату вещи, для которых не находилось другого места, а таких вещей было теперь много, потому что одну комнату сдали троим жильцам. Эти строгие люди – у всех троих, как углядел через щель Грегор, были окладистые бороды – педантично добивались порядка, причем порядка не только в своей комнате, но, коль скоро уж они здесь поселились, во всей квартире и, значит, особенно в кухне. Хлама, тем более грязного, они терпеть не могли. Кроме того, большую часть мебели они привезли с собой. По этой причине в доме оказалось много лишних вещей, которые нельзя было продать, но и жаль было выбросить.

Все они перекочевали в комнату Грегора. Равным образом – ящик для золы и мусорный ящик из кухни. Все хотя бы лишь временно ненужное служанка, которая всегда торопилась, просто швыряла в комнату Грегора; к счастью, Грегор обычно видел только выбрасываемый предмет и державшую его руку. Возможно, служанка и собиралась при случае водворить эти вещи на место или; наоборот, выбросить все разом, но пока они так и оставались лежать там, куда их однажды бросили, если только Грегор, пробираясь сквозь эту рухлядь, не сдвигал ее

с места – сначала поневоле, так как ему негде было ползать, а потом со все возрастающим удовольствием, хотя после таких путешествий он часами не мог двигаться от смертельной усталости и тоски.

Так как жильцы порою ужинали дома, в общей гостиной, дверь гостиной в иные вечера оставалась запертой, но Грегор легко мирился с этим, тем более что даже и теми вечерами, когда она бывала отворена, часто не пользовался, а лежал, чего не замечала семья, в самом темном углу своей комнаты. Но однажды служанка оставила дверь в гостиную приоткрытой; приоткрытой осталась она и вечером, когда вошли жильцы и зажегся свет. Они уселись с того края стола, где раньше ели отец, мать и Грегор, развернули салфетки и взяли в руки ножи и вилки. Тотчас же в дверях появилась мать с блюдом мяса и сразу же за ней сестра – с полным блюдом картошки. От еды обильно шел пар. Жильцы нагнулись над поставленными перед ними блюдами, словно желая проверить их, прежде чем приступить к еде, и тот, что сидел посредине и пользовался, видимо, особым уважением двух других, и в самом деле разрезал кусок мяса прямо на блюде, явно желая определить, достаточно ли оно мягкое и не следует ли отослать его обратно. Он остался доволен, а мать и сестра, напряженно следившие за ним, с облегчением улыбнулись.

Сами хозяева ели на кухне. Однако, прежде чем отправиться на кухню, отец зашел в гостиную и, сделав общий поклон, с фуражкой в руках обошел стол. Жильцы дружно поднялись и что-то пробормотали в бороды. Оставшись затем одни, они ели в полном почти молчании. Грегору показалось странным, что из всех разнообразных шумов трапезы то и дело выделялся звук жующих зубов, словно это должно было показать Грегору, что для еды нужны зубы и что самые распрекрасные челюсти, если они без зубов, никуда не годятся. «Да ведь и я чего-нибудь съел бы, – озабоченно говорил себе Грегор, – но только не того, что они. Как много эти люди едят, а я погибаю!»

Именно в тот вечер – Грегор не помнил, чтобы за все это время он хоть раз слышал, как играет сестра, – из кухни донеслись звуки скрипки. Жильцы уже покончили с ужином, средний, достав газету, дал двум другим по листу, и теперь они сидели откинувшись и читали. Когда заиграла скрипка, они прислушались, поднялись и на цыпочках подошли к двери передней, где, сгрудившись, и остановились. По-видимому, их услышали на кухне, и отец крикнул:

– Может быть, музыка господам неприятна? Ее можно прекратить сию же минуту.

– Напротив, – сказал средний жилец, – не угодно ли барышне пройти к нам и поиграть в этой комнате, где, право же, гораздо приятнее и уютнее?

– О, пожалуйста! – воскликнул отец, словно на скрипке играл он.

Жильцы вернулись в гостиную и стали ждать. Вскоре явились отец с пюпитром, мать с нотами и сестра со скрипкой. Сестра спокойно занялась приготовлениями к игре; родители, никогда прежде не сдававшие комнат и потому обращавшиеся с жильцами преувеличенно вежливо, не осмелились сесть на свои собственные стулья; отец прислонился к двери, засунув правую руку за борт застегнутой ливреи, между двумя пуговицами; мать же, которой один из жильцов предложил стул, оставила его там, куда тот его случайно поставил, а сама сидела в сторонке, в углу.

Сестра начала играть. Отец и мать, каждый со своей стороны, внимательно следили за движениями ее рук. Грегор, привлеченный игрой, отважился продвинуться немного дальше обычного, и голова его была уже в гостиной. Он почти не удивлялся тому, что в последнее время стал относиться к другим не очень-то чутко; прежде эта чуткость была его гордостью. А между тем именно теперь у него было больше, чем когда-либо, оснований прятаться, ибо из-за пыли, лежавшей повсюду в его комнате и при малейшем движении

поднимавшейся, он и сам тоже был весь покрыт пылью; на спине и на боках он таскал с собой нитки, волосы, остатки еды; слишком велико было его равнодушие ко всему, чтобы ложиться, как прежде, по нескольку раз в день на спину и чиститься о ковер. Но, несмотря на свой неопрятный вид, он не побоялся продвинуться вперед по сверкающему полу гостиной.

Впрочем, никто не обращал на него внимания. Родные были целиком поглощены игрой на скрипке, а жильцы, которые сначала, засунув руки в карманы брюк, стали у самого пюпитра сестры, откуда все они заглядывали в ноты, что, несомненно, мешало сестре, отошли вскоре, вполголоса переговариваясь и опустив головы, к окну, куда и бросал теперь озабоченные взгляды отец. Было и впрямь похоже на то, что они обманулись в своей надежде послушать хорошую, интересную игру на скрипке, что все это представление им наскучило и они уже лишь из вежливости поступались своим покоем. Особенно свидетельствовало об их большой нервозности то, как они выпускали вверх из ноздрей и изо рта дым сигар. А сестра играла так хорошо! Ее лицо склонилось набок, внимательно и печально следовал ее взгляд за нотными знаками. Грегор прополз еще немного вперед и прижался головой к полу, чтобы получить возможность встретиться с ней глазами. Был ли он животным, если музыка так волновала его? Ему казалось, что перед ним открывается путь к желанной, неведомой пище. Он был полон решимости пробраться к сестре и, дернув ее за юбку, дать ей понять, чтобы она прошла со своей скрипкой в его комнату, ибо здесь никто не оценит ее игры так, как оценит эту игру он. Он решил не выпускать больше сестру из своей комнаты, по крайней мере до тех пор, пока он жив; пусть ужасная его внешность сослужит ему наконец службу; ему хотелось, появляясь у всех дверей своей комнаты одновременно, шипеньем отпугивать всякого, кто подступится к ним; но сестра должна остаться у него не по принуждению, а добровольно; пусть она сядет рядом с ним на диван и склонит к нему ухо, и тогда он поведаст ей, что был твердо намерен определить ее в консерваторию и что об этом, не случись такого несчастья, он еще в прошлое рождество – ведь рождество, наверно, уже прошло? – всем заявил бы, не боясь ничьих и никаких возражений. После этих слов сестра, растрогавшись, заплакала бы, а Грегор поднялся бы к ее плечу и поцеловал бы ее в шею, которую она, как поступила на службу, не закрывала ни воротниками, ни лентами.

– Господин Замза! – крикнул средний жилец отцу и, не тратя больше слов, указал пальцем на медленно продвигавшегося вперед Грегора. Скрипка умолкла, средний жилец сначала улыбнулся, сделав знак головой друзьям, а потом снова взглянул на Грегора. Отец, по-видимому, счел более необходимым, чем прогонять Грегора, успокоить сначала жильцов, хотя те вовсе не волновались и Грегор занимал их, казалось, больше, нежели игра на скрипке. Отец поспешил к ним, стараясь своими широко разведенными руками оттеснить жильцов в их комнату и одновременно заслонить от их глаз Грегора своим туловищем. Теперь они и в самом деле начали сердиться – то ли из-за поведения отца, то ли обнаружив, что жили, не подозревая о том, с таким соседом, как Грегор. Они требовали от отца объяснений, поднимали в свою очередь руки, теребили бороды и лишь медленно отступали к своей комнате. Между тем сестра преодолела растерянность, в которую впала оттого, что так внезапно прервали ее игру; несколько мгновений она держала в бессильно повисших руках смычок и скрипку и, словно продолжая играть, по-прежнему глядела на ноты, а потом вдруг встрепенулась и, положив инструмент на колени матери – та все еще сидела на своем стуле, пытаясь преодолеть приступ удушья глубокими вздохами, – побежала в смежную комнату, к которой под натиском отца быстро приближались жильцы. Видно было, как под опытными руками сестры взлетают и укладываются одеяла и пуховики на кроватях. Прежде чем жильцы достигли своей комнаты, сестра кончила стелить постели и выскользнула оттуда. Отцом, видимо, снова настолько овладело его упрямство, что он забыл о всякой почтительности, с

которой как-никак обязан был относиться к своим жильцам. Он все оттеснял и оттеснял их, покуда уже в дверях комнаты средний жилец не топнул громко ногой и не остановил этим отца.

– Позвольте мне заявить, – сказал он, подняв руку и поискав глазами также мать и сестру, – что ввиду мерзких порядков, царящих в этой квартире и в этой семье, – тут он решительно плюнул на пол, – я наотрез отказываюсь от комнаты. Разумеется, я ни гроша не заплачу и за те дни, что я здесь прожил, напротив, я еще подумаю, не предъявить ли мне вам каких-либо претензий, смею вас заверить, вполне обоснованных.

Он умолк и пристально посмотрел вперед, словно чего-то ждал. И действительно, оба его друга тотчас же подали голос:

– Мы тоже наотрез отказываемся.

После этого он взялся за дверную ручку и с шумом захлопнул дверь.

Отец ощупью проковылял к своему креслу и повалился в него; с первого взгляда можно было подумать, что он расположился, как обычно, вздремнуть, но по тому, как сильно и словно бы неудержимо качалась у него голова, видно было, что он вовсе не спал. Грегор все время неподвижно лежал на том месте, где его застигли жильцы. Разочарованный неудачей своего плана, а может быть, и от слабости после долгого голодания, он совсем утратил способность двигаться. Он не сомневался, что с минуты на минуту на него обрушится всеобщее негодование, и ждал. Его не испугнула даже скрипка, которая, выскользнув из дрожащих пальцев матери, упала с ее колен и издала гулкий звук.

– Дорогие родители, – сказала сестра, хлопнув, чтобы призвать к вниманию, рукою по столу, – так жить дальше нельзя. Если вы этого, может быть, не понимаете, то я это понимаю. Я не стану произносить при этом чудовище имя моего брата и скажу только: мы должны попытаться избавиться от него. Мы сделали все, что было в человеческих силах, мы ухаживали за ним и терпели его, нас, по-моему, нельзя ни в чем упрекнуть.

– Она тысячу раз права, – сказал отец тихо. Мать, которая все еще задыхалась, начала глухо кашлять в кулак с безумным выражением глаз.

Сестра поспешила к матери и придержала ей голову ладонью. Отец, которого слова сестры навели, казалось, на какие-то более определенные мысли, выпрямился в кресле; он играл своей форменной фуражкой, лежавшей на столе среди все еще неубранных после ужина тарелок, и время от времени поглядывал на притихшего Грегора.

– Мы должны попытаться избавиться от него, – сказала сестра, обращаясь только к отцу, ибо мать ничего не слышала за своим кашлем, – оно вас обоих погубит, вот увидите. Если так тяжело трудишься, как мы все, неспособны еще и дома сносить эту вечную муку. Я тоже не могу больше.

И она разразилась такими рыданиями, что ее слезы скатались на лицо матери, которое сестра принялась вытирать машинальным движением рук.

– Дитя мое, – сочувственно и с поразительным пониманием сказал отец, – но что же нам делать?

Сестра только пожала плечами в знак растерянности, которая – в противоположность прежней ее решимости – овладела ею, когда она плакала.

– Если бы он понимал нас... – полувопросительно сказал отец.

Сестра, продолжая плакать, резко махнула рукой в знак того, что об этом нечего и думать.

– Если бы он понимал нас, – повторил отец и закрыл глаза, разделяя убежденность сестры в невозможности этого, – тогда, может быть, с ним и удалось бы о чем-то договориться. А так...

– Пусть убирается отсюда! – воскликнула сестра – Это единственный выход, отец. Ты должен только избавиться от мысли, что это Грегор. В том-то и состоит наше несчастье, что мы долго верили в это. Но какой же он Грегор? Будь это Грегор, он давно бы понял, что люди не могут жить вместе с таким животным, и сам ушел бы. Тогда бы у нас не было брата, но зато мы могли бы по-прежнему жить и чтить его память. А так это животное преследует нас, прогоняет жильцов, явно хочет занять всю квартиру и выбросить нас на улицу. Гляди, отец, – закричала она внезапно, – он уже опять принимается за свое!

И в совершенно непонятном Грегору ужасе сестра даже покинула мать, буквально оттолкнувшись от стула, словно предпочитала пожертвовать матерью, но не оставаться рядом с Грегором, и поспешила к отцу, который, встревожившись только из-за ее поведения, тоже встал и протянул навстречу ей руки, как бы желая ее защитить.

Но ведь у Грегора и в мыслях не было пугать кого бы то ни было, а тем более сестру. Он просто начал поворачиваться, чтобы уползти в свою комнату, а это действительно сразу же бросилось в глаза, потому что из-за болезненного своего состояния он должен был при трудных поворотах помогать себе головой, неоднократно поднимая ее и стучаясь ею об пол. Он остановился и оглянулся. Добрые его намерения, казалось, были распознаны, испуг прошел. Теперь все смотрели на него молча и грустно. Мать полулежала на стуле, вытянув ноги, глаза ее были от усталости почти закрыты; отец и сестра сидели рядом, сестра обняла отца за шею.

«Наверно, мне уже можно повернуться», – подумал Грегор и начал свою работу снова. Он не мог не пыхтеть от напряжения и вынужден был то и дело отдыхать. Впрочем, его никто и не торопил, его предоставили самому себе. Закончив поворот, он сразу же пополз прямо. Он удивился большому расстоянию, отделявшему его от комнаты, и не мог понять, как он при своей слабости недавно еще умудрился проделать этот же путь почти незаметно. Заботясь только о том, чтобы поскорей доползти, он не замечал, что никакие слова, никакие возгласы родных ему уже не мешают. Лишь оказавшись в дверях, он повернул голову, не полностью, потому что почувствовал, что шея у него деревенеет, но достаточно, чтобы увидеть, что позади него ничего не изменилось и только сестра встала. Последний его взгляд упал на мать, которая теперь совсем спала.

Как только он оказался в своей комнате, дверь поспешно захлопнули, заперли на задвижку, а потом и на ключ. Внезапного шума, раздавшегося сзади, Грегор испугался так, что у него подкосилась лапки. Это сестра так спешила. Она уже стояла наготове, потом легко метнулась вперед – Грегор даже не слышал, как она подошла, – и, крикнув родителям: «Наконец-то!» – повернула ключ в замке.

«А теперь что?» – спросил себя Грегор, озираясь в темноте. Вскоре он обнаружил, что вообще уже не может шевелиться. Он этому не удивился, скорее ему показалось неестественным, что до сих пор он ухитрялся передвигаться на таких тонких ножках. В остальном ему было довольно покойно. Он чувствовал, правда, боль во всем теле, но ему показалось, что она постепенно слабеет и наконец вовсе проходит. Сгнившего яблока в спине и образовавшегося вокруг него воспаления, которое успело покрыться пылью, он уже почти не ощущал. О своей семье он думал с нежностью и любовью. Он тоже считал, что должен исчезнуть, считал, пожалуй, еще решительней, чем сестра. В этом состоянии чистого и мирного раздумья он пребывал до тех пор, пока башенные часы не пробили три часа ночи. Когда за окном все посветлело, он еще жил. Потом голова его помимо его воли совсем опустилась, и он слабо вздохнул в последний раз.

Когда рано утром пришла служанка – торопясь, дюжая эта женщина, сколько ее ни просили не поднимать шума, хлопала дверьми так, что с ее приходом в квартире уже

прекращался спокойный сон, – она, заглянув, как всегда, к Грегору, ничего особенного сначала не заметила. Она решила, что это он нарочно лежит так неподвижно, притворяясь обиженным: в смысленности его она не сомневалась. Поскольку в руке у нее случайно был длинный веник, она попыталась пощекотать им Грегора, стоя в дверях. Но так как и это не оказало ожидаемого действия, она, рассердившись, легонько толкнула Грегора и насторожилась только тогда, когда, не встретив никакого сопротивления, сдвинула его с места. Поняв вскоре, что произошло, она сделала большие глаза, присвистнула, но не стала медлить, а рванула дверь спальни и во весь голос крикнула в темноту:

– Поглядите-ка, оно издохло, вот оно лежит совсем-совсемдохлое!

Сидя в супружеской постели, супруги Замза сначала с трудом преодолели испуг, вызванный у них появлением служанки, а потом уже восприняли смысл ее слов. Восприняв же его, господин и госпожа Замза, каждый со своего края, поспешно встали с постели, господин Замза накинул на плечи одеяло, госпожа Замза поднялась в одной ночной рубашке; так вошли они в комнату Грегора. Тем временем отворилась и дверь гостиной, где ночевала, с тех пор как появились жильцы, Грета; она была совсем одета, как если бы не спала, да и бледность ее лица говорила о том же.

– Умер? – сказала госпожа Замза, вопросительно глядя на служанку, хотя могла сама это проверить и даже без проверки понять.

– О том и твержу, – сказала служанка и в доказательство оттолкнула веником труп Грегора еще дальше в сторону. Госпожа Замза сделала такое движение, словно хотела задержать веник, однако же не задержала его.

– Ну вот, – сказал господин Замза, – теперь мы можем поблагодарить бога.

Он перекрестился, и три женщины последовали его примеру. Грета, которая не спускала глаз с трупа, сказала:

– Поглядите только, как он исхудал. Ведь он так давно ничего не ел. Что ему ни приносили из еды, он ни к чему не притрагивался.

Тело Грегора и в самом деле было совершенно сухим и плоским, это стало по настоящему видно только теперь, когда его уже не приподнимали ножки, да и вообще ничего больше не отвлекало взгляда.

– Зайди к нам на минутку, Грета, – сказала госпожа Замза с печальной улыбкой, и Грета, не переставая оглядываться на труп, пошла за родителями в спальню. Служанка закрыла дверь и распахнула настежь окно. Несмотря на ранний час, свежий воздух был уже тепловат. Стоял конец марта.

Трое жильцов вышли из своей комнаты и удивились, не увидев завтрака: о них забыли.

– Где завтрак? – угрюмо спросил служанку средний. Но служанка, приложив палец к губам, стала быстро и молча кивать жильцам, чтобы они вошли в комнату Грегора. Они вошли туда и в уже совсем светлой комнате обступили труп Грегора, спрятав руки в карманах потертых своих пиджачков.

Тут отворилась дверь спальни и появился господин Замза в ливрее и с ним под руку с одной стороны жена, а с другой – дочь. У всех были немного заплаканные глаза; Грета нет-нет да прижималась лицом к плечу отца.

– Сейчас же оставьте мою квартиру! – сказал господин Замза и указал на дверь, не отпуская от себя обеих женщин.

– Что вы имеете в виду? – несколько смущенно сказал средний жилец и льстиво улыбнулся. Два других, заложив руки за спину, непрерывно их потирали, как бы в радостном ожидании большого спора, сулящего, однако, благоприятный исход.

– Я имею в виду именно то, что сказал, – ответил господин Замза и бок о бок со своими

спутницами подошел к жильцу. Тот несколько мгновений постоял молча, глядя в пол, словно у него в голове все перестраивалось.

– Ну что же, тогда мы уйдем, – сказал он затем и поглядел на господина Замзу так, словно, внезапно смирившись, ждал его согласия даже и в этом случае.

Господин Замза только несколько раз коротко кивнул ему, вытаращив глаза. После этого жилец и в самом деле тотчас направился широким шагом в переднюю; оба его друга, которые, прислушиваясь, уже перестали потирать руки, пустились за ним прямо-таки вприпрыжку, словно боялись, что господин Замза пройдет в переднюю раньше, чем они, и отрежет их от их вожака. В передней все три жильца сняли с вешалки шляпы, вытащили из подставки для тростей трости, молча поклонились и покинули квартиру. С каким-то, как оказалось, совершенно необоснованным недоверием господин Замза вышел с обеими женщинами на лестничную площадку; облокотясь на перила, они глядели, как жильцы медленно, правда, но неуклонно спускались по длинной лестнице, исчезая на каждом этаже на определенном повороте и показываясь через несколько мгновений опять; чем дальше уходили они вниз, тем меньше занимали они семью Замзы, а когда, сначала навстречу им, а потом высоко над ними, стал, щеголяя осанкой, подниматься с корзиной на голове подручный из мясной, господин Замза и женщины покинули площадку и все с каким-то облегчением вернулись в квартиру.

Они решили посвятить сегодняшний день отдыху и прогулке; они не только заслуживали этого перерыва в работе, он был им просто необходим. И поэтому они сели за стол и написали три объяснительных письма: господин Замза – своей дирекции, госпожа Замза – своему работодателю, а Грета – своему шефу. Покуда они писали, вошла служанка сказать, что она уходит, так как утренняя ее работа выполнена. Писавшие сначала только кивнули, не поднимая глаз, но когда служанка, вместо того чтобы удалиться, осталась на месте, на нее недовольно взглянули.

– Ну? – спросил господин Замза.

Служанка, улыбаясь, стояла в дверях с таким видом, как будто у нее была для семьи какая-то счастливая новость, сообщить которую она собиралась только после упорных расспросов. Почти вертикальное страусовое перышко на ее шляпе, всегда раздражавшее господина Замзу, покачивалось во все стороны.

– Так что же вам нужно? – опросила госпожа Замза, к которой служанка относилась все-таки наиболее почтительно.

– Да, – отвечала служанка, давясь от добродушного смеха, – насчет того, как убрать это, можете не беспокоиться. Уже все в порядке.

Госпожа Замза и Грета склонились над своими письмами, словно намереваясь писать дальше; господин Замза, который заметил, что служанка собирается рассказать все подробно, решительно отклонил это движением руки. И так как ей не дали говорить, служанка вспомнила, что она очень торопится, крикнула с явной обидой: «Счастливо оставаться!» – резко повернулась и покинула квартиру, неистово хлопая дверьми.

– Вечером она будет уволена, – сказал господин Замза, но не получил ответа ни от жены, ни от дочери, ибо служанка нарушила их едва обретенный покой. Они поднялись, подошли к окну и, обнявшись, остановились там. Господин Замза повернулся на стуле в их сторону и несколько мгновений молча глядел на них. Затем он воскликнул:

– Подите же сюда! Забудьте наконец старое. И хоть немного подумайте обо мне.

Женщины тотчас повиновались, поспешили к нему, приласкали его и быстро закончили свои письма.

Затем они покинули квартиру все вместе, чего уже много месяцев не делали, и поехали

на трамвае за город. Вагон, в котором они сидели одни, был полон теплого солнца. Удобно откинувшись на своих сиденьях, они обсуждали виды на будущее, каковые при ближайшем рассмотрении оказались совсем не плохими, ибо служба, о которой они друг друга до сих пор, собственно, и не спрашивали, была у всех у них на редкость удобная, а главное – она многое обещала в дальнейшем. Самым существенным образом улучшить их положение легко могла сейчас, конечно, перемена квартиры; они решили снять меньшую и более дешевую, но зато более уютную и вообще более подходящую квартиру, чем теперешняя, которую выбрал еще Грегор. Когда они так беседовали, господину и госпоже Замза при виде их все более оживлявшейся дочери почти одновременно подумалось, что, несмотря на все горести, покрывшие бледностью ее щеки, она за последнее время расцвела и стала пышной красавицей. Приумолкнув и почти безотчетно перейдя на язык взглядов, они думали о том, что вот и пришло время подыскать ей хорошего мужа. И как бы в утверждение их новых мечтаний и прекрасных намерений, дочь первая поднялась в конце их поездки и выпрямила свое молодое тело.